Перед
ДОЖДЕМ
18+
РОМАН КУБОВ

Роман Кубов

Перед дождем

«Автор»
2026

Кубов Р.

Перед дождем / Р. Кубов — «Автор», 2026

У Алисы Крамер маленькое парфюмерное ателье и редкий нос: она раскладывает на ноты чужие свадьбы, чужие прощания и чужие дома.Единственный запах, который она пять лет не может разложить, - флакон без имени, подаренный ей под дождём на пирсе в Сочи.Когда её ателье выигрывает тендер крупной сети, партнёром становится фабрика с тридцатилетней историей, а рядом с формулой - её владелецГлеб Северов: спокойный, внимательный и явно знающий её работы лучше, чем положено случайному партнёру. У них шесть недель, один аромат и правило, которое они придумали сами: никаких личных вопросов до конца проекта.Алиса умеет держать правила, пока не замечает, что его блокнот пишет почерком из её прошлого, а легенду для сети он собирается складывать из того, чего не было ни в одном брифе.Чем пахнет море перед дождём и почему человек, исчезнувший однажды утром, вернулся именно сейчас?

© Кубов Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1. Первая нота 7
Глава 2. Голос под дождём 11
Глава 3. Почерк 14
Глава 4. Правило 17
Глава 5. Лаборатория в полночь 20
Глава 6. Верхние ноты 24
Глава 7. Утро в мастерской 27
Глава 8. Легенда 31
Глава 9. Тройной тариф 34
Глава 10. В темноте 38
Глава 11. Попытка семнадцатая 42
Глава 12. Отложить на потом 45
Конец ознакомительного фрагмента. 49

Роман Кубов
Перед дождем

Пролог

Я стояла на пирсе и считала в уме, сколько минут мне нужно, чтобы дойти до гостиницы не бегом, когда начался дождь, и в этом была какая-то высшая справедливость: вечер был испорчен окончательно, и портиться - так всем сразу. Это был пирс в Сочи, сентябрь, несезон, и набережная пахла мокрой хвоей и жареной кукурузой одновременно. Получалось восемь. Бегом - четыре, но бегом под дождём бегают только те, кому есть куда, а мне было некуда: завтра самолёт, послезавтра практика, через месяц выпуск, и всё это было правильно, и ничего из этого не хотелось.

Зонт раскрылся рядом со мной так спокойно, будто его держали не для меня, а для дождя, которому тоже нужен был собеседник.

- Один зонт на двоих - это честный обмен, - сказал голос. - Мне некуда идти, вам, судя по лицу, тоже.

Я повернула голову. Мужчину рядом со мной я запомнила потом не лицом: дождь был стеной, свет фонарей - жидкий, жёлтый, а я была из тех людей, которые в дождь смотрят под ноги. Я запомнила голос - низкий, ровный, с той медлительностью, с которой говорят люди, привыкшие, что их дослушивают. И руки: он держал зонт чуть наклонив, чтобы вода шла мимо нас обоих, и держал его так уверенно, будто всю жизнь только и делал, что делил с кем-то один зонт.

- Мне есть куда, - сказала я. - Мне туда восемь минут.

- Значит, у вас есть восемь минут, - сказал он. - Это больше, чем у большинства людей в сентябре.

Я не знаю, почему я осталась. Я могу объяснить это усталостью, могу - дождём, могу - тем, что в последний вечер перед отъездом человек становится немного не собой. Но я думаю, что я осталась потому, что голос этот спросил меня про то, про что меня не спрашивал никто, кроме меня самой.

- Чем пахнет море перед дождём? - спросил он.

Я тогда заканчивала учиться на парфюмера, и слово "запах" было для меня рабочим инструментом, как для хирурга скальпель, и я устала от людей, которые спрашивали меня, правда ли, что у меня "дар". Этот человек спросил не про дар. Он спросил про море.

- Металлом, - сказала я. - И немного огурцом. И ещё тем запахом, который бывает, когда в комнате долго было душно и кто-то открыл окно. Только в размере моря.

- В размере моря, - повторил он, как пробуют на вес чужую вещь. - У вас есть с собой чем записать?

- У меня всегда есть чем записать, - сказала я.

Я достала из сумки блокнот и блоттер - бумажную полоску для проб, на которой пишут названия формул, и он смотрел на блоттер так, как смотрят на предмет, который видели раньше, но в другом сне. Я написала: "море перед дождём, попытка семнадцать". Почему семнадцатая - я сама не знала; просто все хорошие вещи у меня в жизни случались после шестнадцати неудачных.

- Держите, - сказала я. - Это не духи. Это направление.

Он взял блоттер двумя пальцами, аккуратно, как берут то, что может оказаться важным, и я подумала, что вот так же берут пробирки с чем-то редким. Потом он полез в карман куртки и достал маленький флакон тёмного стекла, без этикетки, с притёртой пробкой.

- А это мне отдали много лет назад, - сказал он. - Это то, что я хочу забыть. Может, у тебя получится разложить это на ноты.

- Вы мне его дарите?

- Я его вам доверяю, - сказал он. - Это разные вещи.

Дождь шёл и шёл, и мы стояли под одним зонтом и говорили про запахи, и я рассказывала ему про верхние ноты, которые живут пятнадцать минут, и про те, что живут сутки, и про те, что держатся годами, если их не смывать, и он слушал так, как умеют слушать только люди, которые сами умеют молчать. Я не спросила, как его зовут. Он не спросил, как зовут меня. Это не было игрой в тайну: это было тем редким вечером, когда двое людей соглашаются быть друг для друга только голосом, и этого достаточно.

Когда дождь стал меньше, я сказала, что мне пора, и он сказал "да" так, как говорят люди, не умеющие просить остаться. Он проводил меня до угла набережной, и зонт он держал всё так же, чуть наклонив, и к углу я высохла, а он остался мокрым с той стороны, с которой должен был остаться мокрым, потому что зонт был один, и честный обмен - это когда кто-то один мокнет за двоих.

- Спасибо, - сказала я.

- За что? - спросил он.

- За вопрос про море, - сказала я. - Его у меня давно никто не спрашивал.

Он кивнул. В свете фонаря я на секунду увидела его лицо - усталое, немолодое для его возраста, с той спокойной складкой у рта, которая бывает у людей, привыкших доводить дело до конца, и подумала, что если мы когда-нибудь встретимся при другом свете, я, наверное, его узнаю. Наверное. Дождь размывает не только город, но и лица.

Утром я улетала. Я проснулась рано и первым делом посмотрела на тумбочку: флакон стоял там, где я его оставила, тёмный, без этикетки, с притёртой пробкой. Я взяла его и повертела в руках, и подумала, что можно открыть его прямо сейчас, в номере, в котором пахнет гостиничным мылом, а можно увезти с собой и открывать тогда, когда я буду знать, зачем мне это нужно. Я убрала флакон в косметичку, между кистями и блокнотом, и он поехал со мной на север, и лежал в ящике моего стола пять лет, и я ни разу его не открыла. Не потому, что забыла про него. А потому, что есть вещи, которые открывают только тогда, когда готовы услышать, что внутри.

Через три месяца мне пришёл первый в жизни настоящий заказ: аромат прощания, через посредника, с тройным тарифом и с пометкой в письме, которую я запомнила на всю жизнь: имя автора не спрашивать. Я сделала тот аромат за одну зиму и открыла на него своё ателье, и с тех пор ко мне приходят люди и просят сделать им запах их свадьбы, их детства, их дома, и я делаю, и у меня хорошо получается. Но каждый сентябрь, когда воздух начинает пахнуть металлом и огурцом, я достаю из ящика маленький тёмный флакон и смотрю на него и думаю об одном человеке без имени, который умел держать зонт так, чтобы мокнуть за двоих.

Я думала, что это просто история одного вечера. Я не знала, что у запахов память длиннее, чем у людей, и что у моего вечера есть продолжение, и оно уже пахнет - очень слабо, очень издалека, верхними нотами, которых хватает всего на пятнадцать минут.

Глава 1. Первая нота

Клиентка опаздывала на двадцать минут, и я провела это время так, как провожу все пустые промежутки: разложила на столе блоттеры и стала нюхать их по порядку, как читают книгу по странице. Третья сверху пахла бергамотом и обидой: бергамот у меня в тот день не слушался, я добавила его на каплю больше, чем нужно, и теперь формула сидела на бумаге надутая. Я отложила её в стопку переделать и услышала, как открылась дверь ателье.

- Я не опоздала, - сказала клиентка с порога. - Я пришла вовремя, просто время пришло позже.

- Отличная формулировка, - сказала я. - Садитесь. Рассказывайте.

Она хотела запах для дочери на совершеннолетие. Такие заказы я люблю больше всех: в них всегда есть история, а история - это половина формулы. Мы проговорили сорок минут: про дочь, про сад у бабушки, про то, что девочка красится тайком и мечтает о море, хотя живёт в городе, где море бывает только на картинках. Я записала в блокнот: инжир, солёная вода, немного тёплого дерева, и ни одной розы, потому что розы девочки в восемнадцать лет не любят, даже если говорят, что любят. Клиентка ушла довольная, оставив предоплату и запах дождя от пальто, и я открыла окно, чтобы проветрить комнату, и в этот момент увидела Риту.

Рита шла к ателье быстрым шагом администратора, у которого новость не помещается в теле. У Риты было пальто не по погоде и телефон в руке, как у гонца.

- Письмо, - сказала Рита вместо приветствия. - Настоящее. С печатью и с курьером.

- Курьером?

- Живым, Алиса. Он стоял у двери и сказал: под роспись. Я расписалась так, будто мне вручали государственную тайну.

Письмо было от гостиничной сети "Пять широт". Сеть эта открывала в Петербурге флагманский отель и устраивала закрытый тендер на фирменный аромат: лобби, номера, спа, всё в одном запахе. Бюджет был такой, что я прочитала его дважды. Условия были такие, что я прочитала их трижды.

- Там написано что-то плохое? - спросила Рита.

- Там написано, что ателье участвует в тандеме с промышленным партнёром, - сказала я. - Они выбрали партнёра сами. Фабрика "Северов".

- Северов? - сказала Рита. - Это же те, которые...

- Которые делают сырьё для половины нишевых домов в стране, - сказала я. - Да. И которые, по слухам, съедают маленьких.

- По твоим слухам, - поправила Рита.

- По моим, - согласилась я. - У них первая встреча завтра, в десять, у них на фабрике. Написано: присутствие авторов обязательно. Рита, я не хочу в тандем. Тандем - это когда твой запах разбавляют.

- А без тандема не будет тендера, - сказала Рита. - Алиса, это флагман. Это тридцать шесть месяцев контракта. Это твоё имя на флаконе в лобби, где каждый второй постоялец потом пойдёт и купит его домой.

- Это моё имя на флаконе, который будут делать не мои руки.

- Твои руки будут делать формулу, - сказала Рита. - Их руки будут делать партию. Так и написано: авторство интеллектуальное - ваше, производство - их.

Я посмотрела на письмо ещё раз. Внизу стояла подпись исполнительного директора и приписка от руки: "Ждём ваших условий, но не ваших сомнений". Приписка была дерзкая, и она мне понравилась, потому что дерзость - это тоже нота, и без неё любой запах плоский.

- Ладно, - сказала я. - Завтра в десять. Но я иду туда продавать им себя, а не продаваться.

Утром я надела то, что называю своей рабочей бронёй: тёмное платье, пиджак, косу заплела туго, и браслет-резинку на запястье сменила на новую, потому что старая растянулась, а в новые дела я всегда вхожу с новой резинкой. Рита сказала, что это суеверие. Я сказала, что у парфюмеров вместо суеверий - гигиена. Фабрика "Северов" стояла в Московском районе, за старой промзоной, и была из тех зданий, которые строили на века и потом научились любить: красный кирпич, чистые окна, вывеска без позолоты. У входа стоял запах, который я узнала раньше, чем увидела табличку: эфирные масла, спирт, дерево, немного металла. Так пахнет место, где делают запахи серьёзно.

Нас встретили в переговорной на втором этаже: стол, окна во двор, графин с водой, и человек в сером пиджаке, который встал, когда мы вошли.

- Аркадий Литвинов, сеть "Пять широт", директор по развитию, - сказал он и пожал руку Рите, а потом мне, коротко и без давления. - Рад, что вы приняли приглашение.

- Алиса Крамер, ателье "Верхняя нота", - сказала я. - Это Рита Осипова, мой администратор. Мы читали условия. У нас есть вопросы.

- Сначала третий участник, - сказал Литвинов. - Он здесь хозяин, и он не любит, когда начинают без него.

Дверь открылась, и в переговорную вошёл мужчина, и я запомнила эту секунду так, как парфюмер запоминает запах: целиком, без права на пересказ. Он был не высокий и не низкий, в рубашке с закатанными до локтя рукавами, и первое, что я про него поняла, было про руки: руки человека, который умеет держать вещи так, чтобы они не падали. Он поздоровался с Литвиновым, потом повернулся к нам, и на его лице что-то сдвинулось, очень коротко, как сдвигается стрелка прибора, когда в комнату входит новый запах, и сдвиг этот он убрал быстрее, чем я успела его понять.

- Глеб Северов, - сказал он. - Владелец фабрики. Садитесь, пожалуйста.

Голос у него был тихий и ровный, и я подумала, что с таким голосом люди либо продают что-то очень дорогое, либо очень хорошо молчат. Мы сели. Он сел напротив, положил перед собой папку и стал разглаживать её край большим пальцем, и я поймала себя на том, что смотрю на этот палец, и отвела глаза.

- Условия простые, - сказал Литвинов. - Шесть недель. Вы вместе создаёте формулу, фабрика обеспечивает производство и стабилизацию, ателье - авторство и контроль качества. Защита перед советом сети через шесть недель, решение в тот же день. Конфиденциальность полная: до результата никто из вас не объявляет об участии, и внутри команды тоже без подробностей.

- Почему полная? - спросила я.

- Потому что запах - это новость, - сказал Литвинов. - А новости в этой отрасли утекают быстрее спирта.

- У меня встречный вопрос, - сказала я. - Почему тандем обязателен? Я могу сделать этот аромат одна.

- Можете, - сказал Литвинов. - И продать его в тридцати экземплярах. Нам нужны тысячи литров к сентябрю. Автор без фабрики - это нос без лёгких. Фабрика без автора - это лёгкие без носа. Вы друг другу нужны.

Я посмотрела на Северова. Он смотрел на меня так, как смотрят на собеседника, которого уже дослушали до конца и которому ещё не начали отвечать.

- У ателье есть условие, - сказала я. - Формула моя до последней ноты. Фабрика не меняет сырьё без моего согласия и не трогает пропорции ради удешевления.

- Согласен, - сказал Северов.

Так быстро, что я не поверила.

- И ещё одно, - сказала я. - Все решения по аромату - за мной. Производство может говорить "нельзя", но не может говорить "лучше".

- Это называется технологическая совместимость, - сказал Северов. - Мы обсуждаем технологию, вы решаете запах. Это стандартная практика, и я её поддерживаю.

Он сказал это ровно, без нажима, и я почувствовала, что злиться стало не на что, и это разозлило меня сильнее. Рита под столом тронула меня локтем. Я знала этот локоть: он означал "не кусай руку, которая даёт тридцать шесть месяцев".

- И последнее, - сказал Литвинов. - Рабочее пространство общее. Я попрошу вас приезжать на фабрику минимум трижды в неделю, у вас будет своя лаборатория и допуск ко всем архивам. Глеб, покажешь?

- Конечно, - сказал Северов.

Он встал и повёл нас по коридору, и я шла за ним и нюхала воздух, потому что не могу иначе: коридор пах чистотой и лёгкой сладостью сырья, и где-то далеко, за двумя дверями, стояла нота, которую я знала. Я остановилась. Я не могла не остановиться: нота была знакомая, очень знакомая, и лежала она в воздухе так, как лежат вещи, которые видел во сне.

- Что-то не так? - спросил Северов.

- Нет, - сказала я. - Просто у вас пахнет.

- У нас всегда пахнет, - сказал он. - Это фабрика.

- Нет, - сказала я. - У вас пахнет конкретным.

Он посмотрел на меня, и я увидела, что он понял, о чём я, и понял раньше, чем я смогла объяснить. Мы стояли посреди коридора, и он молчал, и молчание это длилось столько, сколько длится нота сердца в хорошем аромате: недолго, но так, что замечаешь.

- Архив образцов за той дверью, - сказал он наконец. - Двадцать лет коллекции. Там есть чему удивляться. Пойдёмте, лаборатория дальше.

Лабораторию он показал сам: два стола, вытяжка, весы, шкафы с сырьём, и всё было разложено так, как раскладываю я, и это было неприятно, потому что в чужом порядке всегда узнаёшь свой. Он объяснял допуски и регламент, и я слушала, и кивала, и записывала, и всё это время у меня в голове крутилась одна фраза, не моя, не его, просто фраза, которая пришла откуда-то снизу, из той части памяти, где живут запахи, а не слова. Он говорил про график отгрузок, про то, что сырьё заказывается за десять дней, про то, что лаборатория запирается на ключ и ключ будет у меня, и вдруг остановился на середине фразы и сказал, как говорят люди, которые думают вслух и забыли, что они не одни:

- Интересно, чем пахнет море перед дождём.

Он сказал это не мне. Он сказал это воздуху, как говорят с окном, и я почувствовала, как у меня на запястье браслет-резинка вдруг стал тесным, и я не поняла почему. Фраза была обычная. Фразы про море говорят все. Но голос, которым она была сказана, и пауза перед ней, и то, как он после неё моргнул, будто сам себе удивился, легло на меня сверху, как ложится запах, когда его не ждёшь: сразу и целиком.

- Металлом, - сказала я. - И немного огурцом.

Он повернулся ко мне. Медленно. Так медленно, как поворачиваются люди, которым нужно время, чтобы собрать лицо.

- Что? - сказал он.

- Море перед дождём, - сказала я. - Оно пахнет металлом. И немного огурцом. Вы спросили.

- Я спросил? - сказал он.

- Вы спросили, - сказала я.

Мы стояли друг напротив друга в пустой лаборатории, которая пахла спиртом и деревом, и между нами лежала одна фраза про море, и я подумала, что это, наверное, просто совпадение. Фразы про море говорят все. Голоса у людей бывают похожие. И зонты у всех одинаковые. Я попрощалась первой, потому что у меня было правило уходить из помещений, в которых воздух начинает значить больше, чем слова. У двери я обернулась: он стоял у стола и разгла-

живал край папки большим пальцем, и делал это так, как делают люди, которым нужно занять руки, чтобы лицо успело договорить.

В машине Рита спросила, как всё прошло, и я сказала: нормально, и стала смотреть в окно, и Петербург ехал мимо мокрый и апрельский, и я думала: совпадения - это тоже ноты, и что у этой ноты пока нет имени.

Глава 2. Голос под дождём

Ночью мне снился дождь, и это был плохой знак: дождь снится мне только перед важными решениями, как некоторым людям снятся экзамены. Я проснулся в шесть, как просыпаюсь всегда, и первое, что я сделал, - открыл рабочий файл с графиком тендера и посмотрел на него так, как смотрят на деталь, которая не сходится. Шесть недель. Тридцать шесть рабочих дней. Формула, стабилизация, три контрольные партии, защита. Всё было разложено по дням, и каждый день был правильным, и весь график был неправильный, потому что в нём стояло её имя.

Алиса Крамер. Я прочитал его вчера в письме сети и перечитал трижды, и на третий раз понял, что читаю не имя, а проверяю себя: вдруг показалось. Не показалось. Вечером я поднял из архива её портфолио - то самое, которое мы запрашивали у "Пяти широт" до тендера, ещё не зная, с кем нас сведут, - и сидел с ним до одиннадцати, и читал его как человек, который знает ответ и всё равно сверяет. Ателье "Верхняя нота", восемь лет работы, первый заказ - аромат прощания, сделанный в зиму через посредника, и дальше - заказы, заказы, заказы, и среди них ни одного проходного, потому что проходных она не брала. Я закрыл портфолио и подумал, что люди, которые не берут проходного, обычно платят за это одиночеством, и что я знаю это не понаслышке.

В восемь я был на фабрике. Фабрика встречает меня так, как встречают хозяина, который приходит раньше всех: тихо, с запахом вчерашнего спирта в коридорах и со звуком вентиляции, которая за ночь выучила все пустые комнаты. Я обошёл цех, проверил журналы - привычка, от которой отец не смог меня отучить, - и в девять позвонил Литвинов.

- Глеб, доброе утро, - сказал он. - Как прошла встреча?

- Продуктивно, - сказал я.

- Крамер согласилась?

- Согласилась.

- И как она вам?

Я представил, как вчера она стояла посреди коридора и нюхала воздух, и как потом сказала про море, и как ушла, не оглянувшись.

- Профессионал, - сказал я. - Работать будет тяжело. Это хорошо.

- Тяжело - это хорошо, - сказал Литвинов. - Легко у нас только в бухгалтерии. Держите меня в курсе. И Глеб: сроки. Сентябрь не подвинется, и совет не подвинется. Если в тандеме что-то пойдёт не так, скажите сразу.

- Скажу, - сказал я.

Я положил трубку и подумал, что врать Литвинову не хочу, а правду сказать не могу, и что это старая, знакомая развилка, на которой я уже стоял однажды и выбрал не ту дорогу.

В десять было совещание с командой: мой технолог Марина и начальник производства Игорь. Марине тридцать восемь, и она работает на фабрике дольше, чем я ей плачу, и знает про производство больше, чем я когда-либо буду знать; Игорь старше, медленнее и надёжнее любой машины, которую мы покупали. Я разложил перед ними график.

- Тендер, - сказал я. - Флагман сети "Пять широт". Автор - ателье "Верхняя нота", Алиса Крамер. С сегодняшнего дня у неё полный допуск: лаборатория номер два, архив образцов, склады сырья. Вопросы?

- Лаборатория номер два - наша лучшая, - сказала Марина.

- Знаю.

- Там стоит хроматограф, который мы бережём для себя.

- Знаю, - сказал я. - Пусть работает. Если формула не сойдётся на нашем сырье, виноваты будем мы, а не она.

Марина посмотрела на меня. У Марины взгляд человека, который двадцать лет смотрит на формулы и научился смотреть на людей так же.

- Глеб Викторович, - сказала она. - А вы в порядке?

- Я в порядке, - сказал я. - Почему ты спрашиваешь?

- Вы сказали "пусть работает" про хроматограф, - сказала Марина. - Про прошлый тендер вы сказали про него "пусть стоит".

- В этот раз пусть работает, - сказал я.

Игорь спросил про объёмы и сроки поставки сырья, и мы проговорили час, и час этот был обычный.

- Фиалковый лист, - сказал Игорь. - Поставщик подтверждает партию на среду. Две бочки, как просили.

- Бери три, - сказал я.

- По графику две.

- По графику две, - сказал я. - По запасу три. Пусть третья стоит на складе: если формула потребует перезапуска, ждать поставку мы не будем.

Игорь записал, и я увидел, как Марина смотрит на меня, и понял, что она считает то же, что и я: запас под чужую формулу мы не держали никогда. В обычном этом не было ничего обычного, потому что я сидел и думал о том, как буду работать с человеком шесть недель и не скажу ему главного. Совещание закончилось, Марина задержалась у двери.

- Она молодая? - спросила Марина.

- Двадцать восемь.

- И вы отдаёте ей лучшую лабораторию.

- Я отдаю её работе, - сказал я. - Она - работа.

Марина кивнула и ушла, и я остался в переговорной один, и сидел, и разглаживал край блокнота, и думал: у лжи есть одна профессиональная особенность, которую знают все, кто с ней работает: ложь - это спирт, она испаряется. Правда - это смола, она остаётся. Я всю жизнь предпочитал смолу. Сегодня утром я впервые выбрал спирт, и выбрал его сознательно, и назвал это решением.

Решение было такое. Пять лет назад в Сочи, в сентябре, на пирсе, под дождём, я час держал зонт над женщиной, которую видел впервые и видел в последний раз, и она была единственной, кому я отдал флакон, который носил с собой семь лет. Я не знал её имени. Я не знал, что она парфюмер, - я понял это потом, когда заказ вернулся ко мне в виде запаха, и понял это так, как понимают по запаху: сразу. Когда три месяца назад сеть прислала нам список ателье на тендер, я прочитал её имя и сидел с ним до вечера, и не позвонил, и не написал, и не снялся с тендера, потому что сняться - значит признать, что это личное, а личным я это не считал. Личным оно стало вчера, когда она вошла в переговорную.

Молчать или сказать - вопрос был не про неё. Вопрос был про то, что случится с работой, когда правда войдёт в неё. Тендер - это тридцать шесть дней, и каждый день из них нужен был ей и мне для дела, и я сказал себе: дело сначала. Дело - это аромат для отеля, который откроется в сентябре. Дело - это её ателье, которое получит контракт. Дело - это моя фабрика, которая получит загрузку. А всё остальное - потом. Потом, после защиты, когда между нами будет стоять готовая работа и её можно будет поставить между нами, как ставят флакон на стол: вот, смотри, это мы сделали вместе, а теперь я расскажу тебе, что было на пирсе.

Я понимал, что в этой схеме есть одна деталь, которая мне не подчиняется: она. Она могла вспомнить сама. Она вчера вспомнила - я видел это по её лицу, когда она сказала про огурец. Я не знаю, что она вспомнила и вспомнила ли что-нибудь, кроме фразы; я знаю, что у парфюмеров память длиннее, чем у людей, и что я отдал ей тогда не только блоттер, но и запах, и что запахи не забываются, они ждут. Я решил, что если она спросит прямо - я скажу. Это

было честно. Честно ровно настолько, чтобы потом нельзя было сказать, что я лгал. И нечестно ровно настолько, чтобы потом нельзя было сказать, что я сказал.

Вечером, перед уходом, я зашёл в свой кабинет и открыл верхний ящик стола. Ящик этот у меня из тех, которые люди держат запертыми не от других, а от себя: там лежат вещи, которым не положено лежать на фабрике. Сверху лежали старые пропуска, пара писем, коробка от часов. Под ними - блоттер, бумажная полоска, пожелтевшая по краям, с записью, сделанной чужой рукой в Сочи: "море перед дождём, попытка семнадцать". Семнадцатая попытка. Я тогда не понял, почему семнадцатая, и не спросил, потому что на пирсе не спрашивают имён. Понял потом: всё хорошее у людей случается после шестнадцати неудачных. Я узнал это из её интервью, которое прочитал три месяца назад, и с тех пор цифра эта ходила за мной, как ходят запахи, которые не можешь назвать.

Я достал блоттер, положил его на стол, рядом с графиком тендера, и они лежали рядом: прошлое и настоящее, одна бумажка и один файл. Потом я убрал блоттер обратно в ящик и запер ящик, и ключ положил в карман, и поехал домой, и по дороге думал: шесть недель - это всего лишь шесть недель, и что люди умеют молчать и дольше, и что формула, которую мы будем делать, - это просто формула.

Дома я налил себе чаю и сел у окна. За окном шёл дождь, мелкий, апрельский, совсем не такой, как тот, сочинский, и я смотрел на него и думал: у каждого дождя свой запах, и о том, что один человек на свете умеет раскладывать эти запахи на ноты, и о том, что завтра в десять этот человек придёт ко мне в лабораторию, и я скажу ему "доброе утро", и не скажу ничего больше.

Спирт испаряется, подумал я. Правда остаётся. У меня было шесть недель, чтобы выбрать.

Глава 3. Почерк

В пятницу я приехала на фабрику к девяти и привезла с собой три вещи: блокнот, термос с чаем и старую привычку приходить раньше назначенного на час. В ателье меня за это ругали, на фабрике ругать было некому: охранник молча выдал мне пропуск, коридоры были пусты, и только за одной дверью гудело, как гудит в домах, где уже начали жить. Лаборатория номер два была открыта, и внутри стоял Северов, без пиджака, с закатанными рукавами, и расставлял на штативе флаконы, и делал это так, как расставляют посуду перед приходом гостей: не торопясь и не сомневаясь.

- Доброе утро, - сказал он, не оборачиваясь. - Вы рано.

- Вы раньше, - сказала я.

- Я здесь живу, - сказал он. - Образно.

- Я тоже, - сказала я. - Образно.

Он повернулся и посмотрел на меня, и у него на лице было то же самое, что было в первый день: короткий сдвиг, который он убрал раньше, чем я успела его прочитать. Я поставила термос на стол и подумала, что работать с человеком, который убирает с лица лишнее, - это как нюхать закрытый флакон: всё время ждёшь, что откроется.

- Сегодня дегустация, - сказал он. - Я попросил своих собрать три заготовки под бриф сети. Стандартные решения, чтобы от них оттолкнуться.

- Или чтобы от них отказаться, - сказала я.

- Или чтобы от них отказаться, - согласился он.

Заготовки стояли на штативе, три одинаковых флакона с номерами, и я стала нюхать их по порядку, как всегда: сначала коротко, потом глубже, потом с паузой. Первая была цитрус с деревом, и пахла она вестибюлем бизнес-центра, в котором никогда не бывает детей. Вторая была ваниль и белый чай, и пахла отелем, в котором всё уже было хорошо до нас. Третья была сложнее: кедр, немного кожи, что-то холодное на дне, и я держала её у лица дольше двух других и молчала, потому что в третьей было движение, и я хотела понять, какое.

- Третья лучше, - сказала я наконец. - Но её собирали из чужой истории. Это запах чужого отеля.

- Нашего стандартного, - сказал Северов. - Так пахнут четыре из пяти наших контрактов.

- Потому что четыре из пяти ваших контрактов не хотят, чтобы их запоминали, - сказала я. - Им хотят соответствовать. А отель у моря хочет, чтобы его вспоминали после отъезда.

- У отеля нет моря, - сказал Северов. - Отель в центре города.

- Значит, ему нужно море, - сказала я.

Он посмотрел на меня, и впервые за всё утро на его лице ничего не убрали: оно просто было, с той спокойной складкой у рта, которую я уже знала.

- Продолжайте, - сказал он.

И мы проговорили два часа. Я рассказывала про запах так, как рассказываю всегда: про верхние ноты, которые встречают, про сердце, которое держит, и про подложку, которая остаётся в чемодане через неделю, и про то, что хороший аромат отеля - это не запах в воздухе, а запах в памяти, и что постояльцы увозят его с собой в волосах и в складках пальто. Он слушал и задавал вопросы, и вопросы были правильные: про стойкость в прачечной, про аллергенность цитрусов, про стоимость сырья на тысячу литров, и я отвечала, и ловила себя на том, что мне нравится отвечать, потому что обычно мне задают вопросы про вдохновение, а не про аллергенность.

- Легенда, - сказал он под конец. - Сеть хочет легенду. Историю, которую можно напечатать на карточке в номере.

- Легенды я не делаю, - сказала я. - Я делаю запахи.

- Запах без легенды продаётся в три раза хуже, - сказал он.

- Значит, легенда должна быть правдой, - сказала я. - Придумайте её из того, что есть.

- А что есть? - спросил он.

- Дождь, - сказала я. - Город, в котором двести дней в году дождь. Отель, в который входят мокрые и через десять минут сухие и тёплые. Море, которого нет, но которое все помнят. Вот и легенда: запах, который превращает городскую сырость в море.

Он записал это в блокнот. У него блокнот был обычный, тёмный, и ручка была обычная, и он писал быстро, с наклоном, и я смотрела на это механически, как смотрят на чужие руки, когда думают о своём, и вдруг перестала думать о своём.

Почерк был знакомый. Не так, как бывают знакомы почерки учителей или врачей, которых видел один раз и забыл: так, как знаком почерк человека, чьи письма перечитывал. Я знала этот наклон, эту манеру ставить точку в конце строки с маленьким хвостом, эту привычку подчёркивать главное слово одной короткой чертой. Я видела этот почерк в одном месте в жизни, и место это было очень старое и очень моё.

- Что-то не так? - спросил Северов.

- Нет, - сказала я. - У вас хорошая ручка.

- Ручка как ручка, - сказал он.

- Сколько ей лет?

Он посмотрел на ручку так, как смотрят на вещь, о которой не думал уже давно.

- Не знаю, - сказал он. - Отец подарил. Давно.

Я сказала, что мне нужно в уборную, и вышла, и прошла по коридору до конца, и встала у окна, и стояла так, пока не поняла, что стою не для того, чтобы успокоиться, а для того, чтобы решить. Решать было нечего, и я решила проверить.

Днём я вернулась в ателье, потому что дегустация была закончена и дальше по графику стоял созвон с поставщиком сырья, и Рита встретила меня вопросом про обед, и я сказала, что не хочу обедать, и это было настолько не похоже на меня, что Рита посмотрела на меня дважды. Я села за свой стол и достала из нижнего ящика папку, которую держу в нижнем ящике, потому что нижний ящик - это тот, который открывают реже всего. В папке лежало первое в моей жизни техзадание: письмо посредника, бриф аромата прощания, расчёт тройного тарифа и пометки заказчика, которые тот сделал поверх брифа своей рукой. Пометки были короткие: "здесь медленнее", "не бойтесь пустоты", "финал должен оставаться". Я знала каждую из них наизусть и знала их почерк так, как знают лицо человека, которого видели один раз и долго.

Я положила письмо на стол и стала вспоминать блокнот Северова. Наклон совпадал. Точка с хвостом совпадала. Короткое подчёркивание совпадало. Я сидела и смотрела на письмо и думала: совпадение почерков - это не доказательство, что в мире миллионы людей с похожим почерком и что я взрослый человек, который умеет отличать запах от запаха и факт от фантазии. Потом я перевернула письмо и посмотрела на оборотную сторону, на которой ничего не было, и подумала о том, что взрослый человек - это тот, который проверяет.

Проверить было просто и невозможно одновременно. Я не могла прийти к нему и сказать: узнаете почерк? Я не могла спросить у Литвинова, кто подписывал документы пять лет назад. Я не могла спросить у фабрики, кто платил тройной тариф через посредника, потому что посредник исчез в тот же год, как закрылся заказ, и звали его, кажется, Павел, и он был другом кого-то, кого я не знала. Я могла только одно: работать рядом и смотреть. Я всегда так работала с запахами: не нюхать в лоб, а жить рядом, пока запах сам не выйдет навстречу.

Вечером пришла Рита с двумя стаканами кофе - один свой, потому что мой она давно научилась не брать, - и села напротив.

- Ты сегодня сама не своя, - сказала Рита.

- Я сегодня сама своя, - сказала я. - Просто больше, чем обычно.

- Северов?

- При чём тут Северов?

- Алиса, - сказала Рита. - Ты всю жизнь людей нюхаешь. Я тебя знаю по лицу. Северов.

Я посмотрела на Риту. Рита была единственным человеком на свете, которому я могла сказать половину правды и не соврать при этом.

- Он подписывает бумаги тем же почерком, что один мой старый заказчик, - сказала я.

- И?

- И всё. Это может быть совпадение.

- А может не быть, - сказала Рита.

- Может не быть, - сказала я.

- И что тогда?

- Тогда я хочу знать, - сказала я. - Не для того, чтобы что-то сделать. Для того, чтобы знать. Я пять лет жила с этим заказом, Рита. Это был заказ, который сделал меня. Если за ним стоит человек, с которым я завтра шесть недель делаю один аромат, я имею право знать.

- Ты имеешь право спросить, - сказала Рита.

- Я имею право проверить, - сказала я. - Спрашивать я буду потом.

Рита допила кофе и сказала, что проверка без вопроса - это тоже вопрос, только заданный молча, и что я умею задавать такие вопросы лучше всех, кого она знает. Потом она ушла, и я осталась в ателье одна, и за окном шёл дождь, и я сидела над старым письмом и думала: у каждого запаха есть подложка: то, что остаётся, когда всё остальное выветрилось. У моего старого заказа подложкой был почерк. У почерка, возможно, было имя. У имени, возможно, были руки, которые держали зонт чуть наклонив, чтобы вода шла мимо двоих.

Я убрала письмо обратно в папку и папку обратно в ящик, и заперла ящик, и ключ положила в карман. Завтра в десять у нас была первая совместная варка, и я должна была выспаться, и я знала, что не усну.

Глава 4. Правило

В понедельник она пришла с вопросами, и я понял это по тому, как она поставила сумку: не на спинку стула, как ставит человек, который пришёл работать, а на стол, как ставит человек, который пришёл надолго. Я узнаю такие вещи не потому, что наблюдателен, а потому что сам так делаю, когда собираюсь что-то выяснить.

- Начнём с формулы? - сказал я.

- Начнём с архива, - сказала она. - Я вчера смотрела ваше стандартное сырьё и хочу глянуть старые коллекции. Вы говорили, у вас двадцать лет.

- Двадцать три, - сказал я.

- Двадцать три лучше.

Архив был за той самой дверью, у которой она остановилась в первый день, и я открыл его и включил свет, и она вошла туда так, как входят в комнату, о которой долго читал. Архив у меня - это три ряда полок, тысячи флаконов, и каждый подписан: год, нота, партия. Я собирал его с первого года фабрики, и отец собирал до меня, и это было единственное место на производстве, где время лежало разложенное по флаконам.

Она шла вдоль полок медленно и нюхала воздух, не флаконы, и я шёл за ней и молчал, потому что людям с носом нужно время, как людям с глазами нужна темнота. На втором ряду она остановилась.

- Это что? - спросила она, не оборачиваясь.

- Старые партии, - сказал я. - Девяностые.

- Девяностые пахнут у вас мылом, - сказала она. - Мёдом и кедром. И немного железом.

- Первая продукция фабрики, - сказал я. - Мы начинали с мыла.

- Хорошее было мыло, - сказала она. - Странно. Я его где-то уже нюхала. Не здесь. Давно.

Она сказала это задумчиво, как говорят про запахи, которые помнишь, но не можешь назвать, и у меня внутри всё остановилось на один удар, потому что она была права: она его нюхала, и я знал где, и знал когда, и не мог ей сказать.

Я посмотрел на её спину и подумал, что флакон, который я отдал ей пять лет назад, пах именно этим: мёдом, кедром и немного железом, запахом первой партии, который отец хранил в одном-единственном экземпляре и который я забрал с собой, когда забирал из дома свои вещи. Я отдал его ей, потому что хотел забыть дом, который терял, и потому что у неё были руки, которым можно было доверить то, что не жалко потерять. Она тогда не спросила, что внутри. Она и сейчас не спросила. Она нюхала полку девяностых и говорила, что мыло было хорошее, и я стоял в двух шагах и думал о том, как мало нужно, чтобы тайна стала тесной.

- Глеб Викторович, - сказала она, и я понял, что это началось. - А фабрика раньше брала частные заказы? Ну, до того как вы стали работать с сетями?

- Брала, - сказал я.

- А через посредников?

- Бывало.

- Странная модель, - сказала она. - Заказчик платит тройной тариф и просит не спрашивать его имени. Это же неудобно для производства.

- Для производства неудобно всё, что не партия, - сказал я. - Но отец считал, что частный заказ - это репутация. Один человек, который любит твой запах, стоит десяти, которые его терпят.

- Ваш отец мудрый человек, - сказала она.

- Мой отец простой человек, - сказал я. - Это разные вещи.

Она повернулась ко мне, и мы стояли между полками девяностых, и она смотрела на меня так, как смотрят на формулу, в которой не сходится один компонент: не зло и не радостно, а

внимательно. Я выдержал этот взгляд, потому что не лгал. Я сказал ей правду: фабрика брала частные заказы, отец считал их репутацией. Я не сказал ей только одну строчку из этой правды: что один из этих заказов, тот самый, с тройным тарифом, заказал я, и что заказал я его ей. Правду без одной строчки я научился держать давно. Она держится легче, чем ложь, и падает больнее.

- Пойдёмте варить, - сказал я.

Варка - это то, ради чего существуют лаборатории. Формулу мы выбрали утром: море перед дождём, как сказала она в пятницу, и я записал тогда в блокнот не легенду, а направление, и направление это мы теперь раскладывали на сырьё. Она работала быстро и молча, и молчание у неё было рабочее, как у людей, которые знают цену слову, и я подавал ей пипетки и колбы и думал: ассистировать ей - это всё равно что держать зонт: чуть наклонив, чтобы ей было удобнее.

Первая проба не сошлась. Металл лёг сверху и стоял отдельно, как гвоздь в дереве. Она понюхала, поморщилась и вылила пробу в утиль без жалости, и я увидел, что ей не жалко, и понял, что она из тех, кто умеет начинать заново. Вторая проба была лучше: металл ушёл в середину, но огурец оказался не тот, свежий, столовый, и она сказала про него "кухня", и я сказал про него то же самое, и мы посмотрели друг на друга, потому что одно и то же слово, сказанное одновременно, - это редкость.

- Нужен огурец до дождя, - сказала она. - Не овощ. Воздух.

- Воздух не бывает огурцом, - сказал я.

- Бывает, - сказала она. - Когда огурец растёт под дождём. Это нота листа, а не плода. Ищите в зелёных.

Мы искали в зелёных. В зелёных у нас лежало всё, от гальбанума до фиалкового листа, и мы перебрали двадцать позиций, и на двадцать первой она остановилась и замерла, как замирают люди, услышавшие своё имя в толпе.

- Это, - сказала она.

Это был фиалковый лист, холодный и водянистый, с той самой зелёной горечью, которая бывает у воздуха после ливня. Она добавила его в формулу сама, капля за каплей, и мы прогнали пробу, и когда она подняла блоттер к лицу, я смотрел не на блоттер. Я смотрел на её лицо, потому что лица людей в момент, когда они находят то, что искали, - это единственные лица, которым не нужен свет.

- Ну вот, - сказала она. - Море. Перед дождём.

Проба лежала на столе между нами, и пахла она так, что в лаборатории стало тесно, и теснота эта была не от запаха, а от того, что запах был наш общий, первый, и он получился. Она подняла глаза от блоттера, и я понял, что она чувствует то же, что и я, по тому, как она положила блоттер обратно на стол: медленно, как кладут вещь, которая может разбиться.

- Спасибо, - сказала она.

- За что?

- За то, что не сказали "я же говорил", когда я вылила первую пробу, - сказала она. - Все говорят.

- Я не говорю, - сказал я. - Я записываю.

- Куда?

- В память, - сказал я. - У меня туда помещается.

Она усмехнулась, и усмешка у неё была короткая, и я шагнул к столу, чтобы убрать пробники, и она шагнула к столу, чтобы убрать пробники, и мы оказались у стола одновременно, и расстояние между нами стало таким, каким бывает расстояние между людьми, которые целый день делали одно дело и наконец его сделали. Она подняла голову и посмотрела на меня снизу вверх, потому что была ниже, и я увидел её лицо очень близко, и увидел, что она не отводит взгляд, и понял, что сейчас произойдёт то, что не было записано ни в одном графике.

Дверь лаборатории открылась.

- Глеб Викторович, там по стабилизации вопрос, - сказала Марина с порога. - И у меня плохие новости про вторую партию сырья.

Мы отступили от стола одновременно, как отступают от края люди, которых окликнули. Марина стояла в дверях с папкой и переводила взгляд с меня на неё и обратно, и лицо у неё было лицо человека, который видит формулу раньше, чем её записали.

- Пять минут, Марина, - сказал я.

- Десять, - сказала Марина. - Десять я потерплю.

Она вышла. В лаборатории остался запах фиалкового листа и тишина, в которой было слышно, как гудит вытяжка.

- У вас всё хорошо с персоналом, - сказала она. - Они здесь живут.

- Марина работает с отцовских времён, - сказал я. - Она мне не персонал.

- А кто?

- Совесть, - сказал я.

Она засмеялась, и смех этот был первый настоящий за все дни, и я подумал, что у смеха тоже есть верхние ноты, и у её смеха они были тёплые. Потом мы убрали пробники и выключили весы, и у двери она остановилась, и я понял, что она скажет что-то важное, по тому, как она взялась за ручку двери: обеими руками, как берутся за вещь, когда хотят удержаться.

- Глеб, - сказала она.

- Да?

- У меня к вам предложение, - сказала она. - Давайте договоримся: до конца тендера никаких личных вопросов. Ни я вам, ни вы мне. Работа есть работа.

Я посмотрел на неё. Предложение было удобное. Предложение было мне на руку, потому что личных вопросов я боялся больше, чем чего-либо на свете, и если бы она задала мне их, мне пришлось бы отвечать или лгать, а я выбрал спирт, а не смолу. Но предложение было удобное настолько, что я понял: она предложила его не мне, а себе. Она тоже чего-то боялась.

- Договорились, - сказал я. - Никаких личных вопросов.

- Спасибо, - сказала она.

- Но, - сказал я.

Она ждала.

- Спрашивать будешь потом, - сказал я. - Когда тендер закончится. Задашь все вопросы, которые накопишь. Я отвечу на все, которые ты задашь.

Она смотрела на меня долго. Потом кивнула и вышла, и я остался в лаборатории один, и стоял, и думал: только что дал обещание, которое не собирался сдержать, и что это было первое за много лет обещание, которое мне хотелось сдержать.

Глава 5. Лаборатория в полночь

Третья пробная партия сошлась в четверг, в одиннадцать вечера, когда на фабрике не было уже никого, кроме охраны и нас, и случилось это так, как сходятся все настоящие вещи: без торжественности. Я подняла блоттер к лицу, подержала его, потом подняла ещё раз, потому что носу нужен перерыв, чтобы поверить, и сказала:

- Сходится.

Глеб взял у меня блоттер и понюхал, и лицо у него было такое, как у человека, который долго слушал шум и вдруг услышал в нём мелодию.

- Сходится, - сказал он. - Все три уровня.

- Все три, - сказала я.

Мы стояли посреди лаборатории и смотрели на колбу, в которой было триста миллилитров будущего аромата, и это было то самое чувство, которое бывает, когда работа сделана: не радость, а тишина внутри, как после дождя. Я села на табурет: ноги гудели с полудня, и он сел напротив, и между нами стояла колба и лежал блоттер, и молчание было такое, какое бывает у людей, которые сделали что-то вместе и ещё не решили, что с этим делать.

- У меня в сумке вино, - сказала я.

Он поднял брови.

- Я не пью на работе, - сказала я. - Работа закончилась. Это уже праздник. У парфюмеров так: когда формула сошлась, пьют. Это традиция.

- Чья традиция?

- Моя, - сказала я. - С сегодняшнего дня.

Он встал и достал из шкафа два стакана - те самые, лабораторные, чистые, и я подумала, что вино тоже формула. Вино было белое, холодное, и мы чокнулись без звука.

- За сходимость, - сказал он.

- За сходимость, - сказала я.

Мы пили и говорили о работе, потому что работа была единственная тема, на которую нам было разрешено говорить.

- Подложку мы поставили слишком рано, - сказала я. - Она может уползти при хранении.

- Насколько?

- На полтона за месяц, если температура поплывёт. Стабилизацию посмотрим через месяц, и если уйдёт - пересадим.

- Пересадим?

- Есть одна нота, которая держит чужие подложки, - сказала я. - Я её в сетевые формулы не кладу. Слишком дорогая.

- Для нашей положим, - сказал он.

- Для нашей положим, - согласилась я. - Дегустация у сети в мае, Литвинов привезёт совет весь.

- Значит, к маю формула должна сидеть на текстиле три дня.

- Будет сидеть четыре, - сказала я.

- Обещаете?

- Обещаю, - сказала я. - А фабрика обещает не плыть?

- Фабрика обещает, - сказал он. - Под мою подпись.

Мы чокнулись ещё раз, и всё было правильно, и всё было не то.

Потом разговоры закончились. Не сразу: они закончились так, как заканчиваются все разговоры, когда в них кончается топливо. Он сказал что-то про отгрузку, я сказала что-то про флаконы, и оба мы замолчали на середине фразы, потому что фразы стали не нужны. В лаборатории горела одна лампа над столом, остальной свет мы выключили ещё в десять, и в

этом свете всё было резкое: его руки на столе, колбы, тень от его плеча на стене. Он пах тем, чем пах все эти дни: чистым, тёплым, немного древесиной, и запах этот я знала уже лучше, чем свой собственный.

- Алиса, - сказал он.

- Да?

- Я сейчас скажу то, что не про работу, - сказал он. - И ты можешь меня остановить.

Я поставила стакан на стол. Руки у меня были спокойные, и я отметила про себя: руки не дрожали.

- Говорите, - сказала я.

- Ты мне нравишься, - сказал он. - Не как партнёр. С первого дня. И я понимаю, что у нас правило, и я не предлагаю его нарушить. Я предлагаю сказать это вслух, чтобы оно перестало стоять между нами как колба.

Я смотрела на него. В свете лампы у него на лице было всё видно, и я видела, что он ждёт моего ответа так, как ждут ответа на формулу: без уверенности, но с готовностью вылить пробу, если не сошлось.

- Ты мне тоже нравишься, - сказала я. - С первого дня. И я не хочу, чтобы это стояло между нами как колба.

- Что мы с этим делаем? - спросил он.

- Мы не обязаны ничего с этим делать, - сказала я.

- Я знаю, - сказал он.

- Я хочу, - сказала я.

Он не шевельнулся. Он сидел на своём табурете и смотрел на меня, и я не сразу поняла, чего он ждёт, а потом поняла: он ждёт, чтобы шаг сделала я. Не потому, что не хотел сам. А потому, что хотел, чтобы шаг был мой.

Я встала и подошла к нему, и это были три шага, и я их помню, потому что считала. Я остановилась перед ним и положила руку ему на плечо, туда, где рубашка была закатана и начиналась кожа, и кожа была тёплая, и он поднял голову и посмотрел на меня снизу вверх, и сказал:

- Ты уверена?

- Да, - сказала я.

Он взял мою руку своей ладонью, медленно, как берут то, что можно вернуть обратно, и прижал её к своей щеке, и щека у него была тёплая и с лёгкой щетиной, и я почувствовала, как у меня внутри что-то отпускает, как отпускает то, что держал долго и не замечал.

Мы целовались впервые в полночь в четверг, и первый поцелуй был короткий, потому что мы торопились друг к другу. Второй был длиннее. В третьем я поняла, что у него губы мягче, чем кажутся, и что пахнет он ближе, чем мне помнилось, и что дыхание у него сбилось не сильнее, чем у меня, и это было важно: я не хотела быть той, у кого сбивается одной.

Он встал, и мы стояли близко, и его руки были у меня на талии, и он не двигал ими, и я подумала, что вот это и есть уважение: не хватать, а держать место. Я обняла его за шею сама, и он прижал меня к себе, и мы стояли так, и я чувствовала, как под моей ладонью дышит его рубашка, и думала: хочу, чтобы так было дальше.

- Пойдём туда, где нет стола, - сказала я.

В лаборатории был диван у стены, старый, кожаный, и мы пошли к нему, и по дороге я выключила лампу над столом, потому что хотела темноты не полной, а такой, в которой видно. Окно было одно, и в нём была ночь и отражение лаборатории, и света хватало ровно настолько, чтобы видеть силуэт.

Он был внимательный. Я знала мужчин, и внимательность была среди них самым редким качеством, редче, чем хороший нос, и в нём она была настоящая, не из вежливости. Я расстегнула его рубашку сама, и он расстегнул моё платье сам, и мы оба умели ждать и оба не хотели.

Он узнавал меня так, как я узнаю запахи: сначала коротко, потом глубже, потом с паузой. Он целовал мне шею медленно, и я говорила ему, что медленнее некуда, и он отвечал: можно, и целовал ещё медленнее, и я смеялась ему в плечо, и смех этот был тот самый, верхний, тёплый. Его ладонь шла по мне так, как ходят по дому, в котором давно не были: вспоминала, а не осматривала. Я брала его руку и клала туда, где она была нужна, и он запоминал, и я видела, что запоминает, по тому, как менялось его дыхание. Платье моё лежало на полу рядом с его рубашкой, и это было правильно: вещи должны лежать вместе, если их хозяева вместе.

Кожа у него была горячая, и я думала: тело - это тоже формула, и что у нашей формулы сходятся уровни. Верхние ноты были быстрые и горячие: его губы, мои плечи, его пальцы у меня в волосах, и я тянула его ближе и слышала свой голос, и голос был не мой, ниже и честнее, и я не стала его прятать. Сердце было медленное и глубокое: мы легли и смотрели друг на друга в полутьме, и он спросил меня тихо, можно ли, и я ответила ему так же тихо, что можно и что я хочу. Он вошёл в меня медленно, и я выдохнула его имя, и имя это легло в тишину лаборатории, как ложится нота в формулу, и встало по месту.

Между нами не было ни одного движения, которое было бы про власть. Он двигался так, как двигаются люди, которые умеют слушать: прислушиваясь ко мне, к моему дыханию, к тому, как я отвечала ему телом, и я отвечала не молча, потому что молчать было невозможно и не нужно. Я говорила ему, что да, и что ещё, и что вот так, и он говорил мне то же самое, и слова были короткие и простые, и я думала: в близости слова работают как верхние ноты: их мало, но без них всё плоско. Мы меняли темп вместе: я ускорялась, и он ускорялся, я просила медленнее, и он замирал, и в этих паузах я успевала его разглядеть очень близко, и лицо у него было открытое, без той складки у рта, которую он носил всё время, и я провела по ней пальцем, и она разгладилась.

Когда он был близко, он сказал моё имя, и сказал его так, как говорят то, что давно не говорили вслух. Я пошла за ним, потому что за ним хотелось идти, и мы кончили почти одновременно, и это было похоже на сходимость формулы: не взрыв, а момент, когда всё встаёт по своим местам и становится тихо. Я лежала у него на плече и слушала, как у него бьётся сердце, и думала: сердце - это тоже нота, и что у него она была ровная. Подложка у этого вечера была такая, что я боялась её запомнить, потому что всё, что я запоминаю, остаётся со мной навсегда. Я сказала ему про это, шёпотом, и он сказал:

- Запоминай.

- А если я потом не смогу без этого?

- Я тоже не смогу, - сказал он.

Потом мы лежали на диване и дышали, и он держал меня, чуть наклонив на себя, как держат зонт, и я поняла, что сравнила его с зонтом, и поняла почему, и испугалась этого понимания больше, чем всего остального в этом вечере. Я смотрела в окно, и в окне была ночь, и я думала: утром будет утро, и о том, что у меня есть правило: не ждать утра. Пять лет назад я осталась ждать утра и потеряла человека. Я не собиралась повторять ошибку.

- Мне пора, - сказала я.

Он поднял голову.

- Сейчас?

- Сейчас, - сказала я. - Мне проще уйти ночью, чем утром. Не спрашивай почему. Это часть правила.

Он смотрел на меня долго. Потом кивнул и сказал:

- Я провожу тебя до машины.

- Не надо, - сказала я. - Я сама.

Он не стал спорить. Он встал и подал мне платье, как подают пальто, и отвернулся, пока я одевалась, и это было правильно, и это было обидно, и я не понимала, почему обидно. У двери я обернулась: он стоял посреди тёмной лаборатории, в расстегнутой рубашке, и смотрел

на меня, и не сказал "позвони, когда доедешь", и не сказал "увидимся завтра", и вообще ничего не сказал, и я вышла и пошла по коридору, и он не пошёл за мной, и это было правильно, и это было обидно, и я шла и думала: одни и те же вещи в мужчинах бывают правильными и обидными одновременно, и что это, наверное, и есть взрослая жизнь.

Утром я приехала на фабрику к девяти и первым делом зашла в лабораторию за блокнотом, и лаборатория была пустая, и пахла она вчерашним: вином, фиалковым листом и им. Я стояла у двери и нюхала, и понимала, что веду себя как сумасшедшая, и не могла остановиться, потому что у парфюмеров нет памяти на лица и есть память на запахи, и запах этот я теперь знала лучше всех запахов на свете.

Он пришёл через десять минут, в чистой рубашке, с папкой, и сказал "доброе утро" ровно, как говорят партнёры, и я сказала "доброе утро" ровно, как говорят партнёры, и мы сели за стол, и между нами лежали графики и блоттеры, и ничего не лежало, и работать в этот день было невозможно и необходимо.

Глава 6. Верхние ноты

Суббота началась с того, что мне позвонил Игорь и сказал три слова: вторая партия поплыла. Я был дома, пил чай и смотрел на дождь, и три эти слова выключили и чай, и дождь, и субботу. Я спросил: насколько, и Игорь сказал: на треть, и я сказал: еду, и поехал, и по дороге думал: у производства есть одно свойство, которое не прощают: оно не умеет ждать, пока у тебя личные обстоятельства.

Партия номер два - это наша стабилизационная проба, двести литров, и плыла она, как объяснил Игорь, по верхним нотам: цитрус уходил раньше срока, и через две недели вместо аромата отеля мы получили бы запах выветренной кухни. Такое бывает, и бывает по трём причинам: сырьё, температура, руки. Сырьё было проверено. Температура была записана. Руки были мои.

Я стоял у двери цеха и считал, пока Марина открывала ворота. Двести литров - это двенадцать тысяч флаконов, и двенадцать тысяч флаконов - это контракт с региональной сетью, который кормил цех до осени. Я считал так, как считают всегда, когда случается плохое: по деньгам, потому что деньги считаются легче, чем по смыслу. По смыслу выходило хуже: партия номер два была нашим доказательством, что формула Крамер живёт в большом объёме. Не в её двадцати литрах, где всё держится на её руках, а в наших двухстах, где всё держится на системе. Система подвела.

Я стоял у чана в цеху и смотрел в журнал, и Марина стояла рядом и молчала, и молчание её было из тех, которыми люди не поддерживают, а ждут. Марина умела так молчать: не лезть с утешением, пока человек сам не выговорится, хотя бы про себя.

- Сырьё, - сказал я. - Партия фиалкового листа. Она пришла во вторник.

- Я думала об этом, - сказала Марина.

- И?

- И я думала, что провела входной контроль. Я смотрела хроматограмму сама.

- Я знаю, - сказал я.

- Хроматограмма была чистая, Глеб.

- Я знаю, - сказал я. - Значит, сырьё село по дороге. Или по хранилищу. Или нам привезли не ту партию с той же этикеткой. Бывает.

- Бывает, - сказала Марина. - Но не у нас.

- Теперь у нас, - сказал я.

Я сказал это ровнее, чем чувствовал. Внутри у меня всё было не ровно: двести литров на утиль, десять дней срока, и тендер, в котором у нас с ней всё только-только стало сходиться, и вот теперь я должен был прийти к ней и сказать, что у нас ничего не сходится. Я стоял у чана и думал: есть одна вещь, которую я умею лучше всех на свете: начинать заново. Отец научил меня этому не словами, а тем, что я видел с детства, и я позвонил отцу.

Отец снял после второго гудка, как снимает человек, который живёт по расписанию и держит телефон рядом. Ему шестьдесят четыре, и он передал мне фабрику осенью двадцать первого, в самый кризис, и я иногда думаю, что он передал её вовремя: в кризис я вошёл с рулём, а он вошёл без руля, и это было правильное разделение.

- Сын, - сказал отец. - Суббота.

- Суббота, - сказал я.

- Значит, что-то случилось, потому что в субботу ты звонишь только в двух случаях: когда случилось и когда соскучился.

- Случилось, - сказал я. - Партия поплыла по верхним. Двести литров.

Отец молчал три секунды. Я слышал, как он считает что-то про себя, как считал всегда, прежде чем сказать.

- Сырьё? - спросил он.

- Скорее всего.

- Люди?

- Люди нет. Люди у меня хорошие.

- Тогда не мучай людей, - сказал отец. - Партия - это железо. Железо простит, если ты ему не врал. Что тебя ест на самом деле?

- Ничего, - сказал я.

- Глеб, - сказал отец. - Я тебя вычислил за шестьдесят четыре года. У тебя не партия плывёт. У тебя что-то с той, с кем ты делаешь тендер.

- Откуда ты знаешь про тендер?

- Марина заходила в среду, - сказал отец. - Приносила мне варенье. Она приносит мне варенье, когда хочет рассказать что-то, что не может рассказать мне ты. Она сказала: у сына наконец-то живое дело. Я понял это так, как понял.

Я смотрел в окно цеха. За окном стоял апрель, и по стеклу шли капли, и я подумал, что отец умеет раскладывать людей на ноты не хуже, чем его сын раскладывает запахи, и что это, наверное, семейное.

- Что мне делать? - спросил я.

- Формула простит, если ты ей не врал, - сказал отец. - Люди тоже формула. Не ври. И не путай формулу с собой: формула - это работа, а ты - это ты. Если партия поплыла, скажи об этом той, кто делает формулу. Если плывёшь ты - скажи об этом мне.

- Я не плыву, - сказал я.

- Тогда зачем звонишь в субботу? - спросил отец.

- Слышишь? - спросил я вместо ответа. - Запах сам по себе хороший. Я его нюхал вчера. Верхние ушли, а сердце сидит, и подложка сидит. Живой запах.

- Тогда ничего не потеряно, - сказал отец. - Плохой запах не спасает никакая партия. Хороший запах плохая партия тоже не портит. Он просто ждёт следующей варки. Помнишь, как ты в восемь лет сварил своё первое мыло?

- Помню.

- Кривое было мыло, - сказал отец. - Пахло на весь двор. Мы его не выбросили. Мы его выдержали. Держись этого.

Я попрощался и положил трубку, и стоял с телефоном в руке, и думал: отец за три года отставки не растерял ни одной ноты, и о том, что он прав, и что звонил я в субботу не из-за партии. Из-за партии я бы не звонил. Я позвонил потому, что боялся звонить ей.

Алиса приехала в два, хотя я написал ей только в двенадцать, и приехала она в своей городской куртке, с сумкой через плечо, и вошла в цех так, как входят в помещение, где случилось что-то серьёзное: без вопросов, с готовностью. Я показал ей журнал и чан, и объяснил про верхние ноты, и она стояла и слушала, и нюхала воздух у чана, и я ждал, что она скажет, и боялся, что она скажет то, что сказали бы на её месте многие: что фабрика не справилась.

- Сколько времени у нас до следующей варки? - спросила она.

- Десять дней.

- Сырьё?

- Новую партию фиалкового листа я могу получить за четыре дня, если попрошу лично.

- Попроси, - сказала она. - А пока давай посмотрим, что можно спасти. Верхние ушли, но сердце и подложка сидят. Двести литров выливать жалко.

- Это технический утиль, - сказал я.

- Это двести литров хорошей подложки, - сказала она. - Давай сольём их в промежуточный купаж и поставим на выдержку. Если через месяц сердце удержится, используем как базу под хозяйственную линейку отеля: бельё, полотенца, то, что не обязано пахнуть легендой.

Я смотрел на неё. Я видел, как люди реагируют на чужие ошибки: со злостью, с облегчением, с желанием отойти в сторону. Она реагировала как парфюмер: как человек, для которого ошибка - это проба, которую нужно разложить.

- Почему ты не злишься? - спросил я.

- На что?

- На то, что фабрика подвела твою формулу.

Она посмотрела на меня, и у неё на лице было то самое, что я научился читать за эти недели: не упрёк и не насмешка, а прямой взгляд человека, который говорит то, что думает.

- Формулу не подвели, - сказала она. - Формула - это я и ты. Фабрика подвела партию. Это разные вещи. Пойдём пить чай, и ты расскажешь, что случилось с сырьём, а я подумаю, как переписать сердце под новую партию листа.

Мы пили чай в фабричной кухне, и я рассказывал ей про входной контроль и хроматограммы, и про то, что партия могла сесть по дороге, и она слушала и задавала вопросы, и вопросы были правильные, и я думал: вот так выглядит уважение к делу: не слова, а то, как человек задаёт вопросы. Потом она сказала:

- Слушай. Давай партию номер четыре варить у меня.

- У тебя?

- В ателье, - сказала она. - У меня маленький куб, зато я сижу над ним сама, и температура у меня в руках, а не в журнале. Двести литров я не сделаю, а двадцать - сделаю, и этого хватит на дегустацию для сети. А большую партию сварим потом, когда будем уверены в формуле на сто процентов.

- Сетевые стандарты, - сказал я. - Контроль качества на чужой площадке.

- Контроль качества на моей площадке лучше твоего, - сказала она. - Потому что у меня контроль - это я. Поехали в понедельник, посмотришь моё ателье.

- Поехали, - сказал я.

Она допила чай и встала, и я встал тоже, и мы стояли в фабричной кухне, и между нами не было ничего, кроме стола и двух чашек, и было всё, кроме стола и двух чашек. Я понимал, что приглашаю её на свою территорию не в первый раз, но впервые приглашаюсь на её, и что это другое, и что я иду туда не хозяином и не партнёром, а человеком, которому сказали: приходи, покажу, где я живу по-настоящему.

- В понедельник в десять, - сказала она. - Приходи один. Рита в понедельник злая, она не любит, когда на её территории чужие люди.

- Я ей понравлюсь, - сказал я.

- Посмотрим, - сказала она. - Рита не про нравится. Рита про то, чтобы мне не сделали больно.

Она ушла, и я остался в кухне с двумя чашками, и помыл обе, потому что не мог уйти, не помыв, и думал: партия номер два поплыла, и что это плохо, и что это, наверное, лучшее, что случилось с нашим тендером за неделю, потому что теперь я знал точно: с человеком, который так смотрит на чужие ошибки, можно делать не только формулы.

Вечером я записал в ежедневник: понедельник, ателье, десять. И подумал, и дописал ниже: не врать. Ни формуле, ни ей.

Глава 7. Утро в мастерской

Рита в понедельник оказалась не злая, а подозрительная, и это было хуже. Она встретила Глеба в дверях ателье, оглядела его так, как осматривают партию сырья с чужой фабрики, и сказала:

- Разуваться не надо. У нас не музей.

- Я знаю, - сказал Глеб. - Я в вашем блоге читал.

Рита посмотрела на меня. Я пожала плечами. Человек читал наш блог. Человек, который руководит фабрикой, стоящей с девяностых, читал наш блог про то, как правильно нюхать осень.

- Куб там, - сказала Рита. - Чайник на кухне. Кофе не трогайте.

- Я не пью кофе, - сказал Глеб.

Рита ещё раз посмотрела на него и ушла к себе, и я повела его в мастерскую, и по дороге он смотрел на стены, а на стенах у меня висели блоттеры старых работ, как у людей висят фотографии, и он рассматривал их так, как рассматривают семейные альбомы в чужом доме: вежливо и очень внимательно.

- Это всё ты? - спросил он.

- Это всё я, - сказала я. - Восемь лет.

- Много работы, - сказал он.

- Много жизни, - сказала я.

Куб у меня был маленький, на двадцать литров, медный, купленный на первые большие деньги, и я его любила той любовью, которой любят вещи, сделавшие тебя. Мы ставили партию номер четыре с вечера: я сама отмеряла сырьё, сама грела, сама писала температуру не в журнал, а в блокнот, рукой, потому что рука запоминает лучше журнала. До этого я три часа собирала куб: прогрела водяную баню, прогнала пустую колбу, разложила сырьё по порядку закладки, как раскладывают инструменты перед операцией. Глеб смотрел, как я это делаю, и не задавал вопросов, потому что вопросы во время подготовки сбивают руку.

Глеб сидел рядом и подавал мне колбы, и делал это молча и точно, и я думала: ассистент из него вышел бы хороший, и о том, что хозяин фабрики, который подаёт колбы в чужом ателье, - это редкое зрелище.

Ночью мы говорили. Не о работе, потому что работа была вокруг нас и в работе мы и так были вместе, а о том, что у людей называется пустяками. Он рассказал, что в детстве прятался на складе сырья, когда не хотел идти в школу, и что склад пах для него свободой. Я рассказала, что в школе я была единственной, кто не мог ответить на вопрос "кем ты хочешь стать", потому что хотела стать запахом. Он спросил, как это - хотеть стать запахом, и я сказала: это когда хочешь, чтобы тебя запоминали, не видя. Он кивнул так, как кивают люди, которым ответ был нужен для себя, а не для разговора.

- А ты? - спросила я. - Ты хотел стать фабрикой?

- Я хотел стать отцом, - сказал он.

- В смысле?

- В прямом, - сказал он. - Я в детстве хотел, чтобы у меня был сын и чтобы он прятался со мной на складе. Потом я вырос и понял, что сначала нужно, чтобы было где прятаться.

Он сказал это просто, без надрыва, как говорят про вещи, которые давно лежат на своих местах, и я подумала, что он сказал мне больше, чем хотел, и что я это слышу, и что по нашему правилу я не имею права спросить, был ли у него сын, и не спросила. Правило держалось. Правило трещало.

К рассвету партия сошлась. Я подняла пробу и держала её долго, потому что рассветные носы врут меньше всех, и сказала:

- Сидит. Все три уровня. Сердце держится даже на горячем кубе.

- Значит, получилось, - сказал он.

- Значит, получилось, - сказала я. - Дальше по плану большая партия.

- Десять дней выдержки, - сказал он. - Потом дегустация. И легенда, которую хочет сеть.

- Легенду мы ещё не придумали.

- Мы её не придумываем, - сказал он. - Мы её вспоминаем.

Я посмотрела на него. Он смотрел на рассвет, и я не поняла, про что он сказал, и спросить не успела, потому что он повернулся ко мне.

Я выключила куб и повернулась к нему, и мы стояли в мастерской, в утреннем свете, который шёл из окна и делал всё вокруг мягким, и он был в этом свете без пиджака и без фабрики, и я подумала, что вот она, минута, которой я боялась и которую ждала, и что боялась я зря, потому что страха не было, а было что-то другое, для чего у меня не было названия, и это было впервые за много лет, чтобы у меня не было названия для чего-то важного.

- Глеб, - сказала я.

- Да?

- Я хочу тебя поцеловать, - сказала я. - Это не вопрос. Это предупреждение.

Он засмеялся, и смех у него был тот самый, редкий, и я шагнула к нему и поцеловала его, и предупреждение оказалось точным: поцелуй вышел длинный и медленный, и в нём было всё то, что мы не сказали за ночь, и я почувствовала, как его руки поднялись и остановились у меня на спине, не обняв, и я взяла его руки и положила себе на талию, и сказала в его губы:

- Здесь я всё решаю. Ясно?

- Ясно, - сказал он.

- Спрашивать можно, - сказала я. - Решать нельзя.

- Я понял, - сказал он.

Я повела его в комнату за мастерской, где у меня стоял диван и лежали пледы, потому что иногда я оставалась в ателье на ночь и потому что утро было наше, и по дороге он спросил:

- Ты уверена?

- Я начала это предложение с того, что всё решила, - сказала я. - Да. Уверена.

Утро пахло кубом и тёплым воском, и свет лежал на полу косыми полосами, и пахло в мастерской тем, чем пахнет только утро после ночной варки: тёплой медью, остатками нашей партии и немного воском от свечей, которые Рита жжёт по вечерам. Я помню это утро лучше, чем помню что-либо за последние годы, потому что помню его целиком, всеми органами чувств сразу. Я сняла с него рубашку сама, потому что в прошлый раз начала я, а продолжать должна была тоже я, и он стоял и смотрел на меня так, как смотрят на человека, который делает что-то важное и не торопится, и это было новое для меня чувство: быть тем, кто не торопится, и чтобы никто при этом не уходил.

- Смотри, - сказала я.

- Смотрю, - сказал он.

- Запоминай.

Он засмеялся тихо, и я поняла, что он узнал слово, и это было хорошо, потому что у нас уже были общие слова, а общие слова - это то, из чего потом делаются общие годы. Я усадила его на диван и сама села к нему на колени, и обняла его за шею, и почувствовала, как его руки легли мне на бёдра, тепло и без спешки, и подумала о том, что в прошлый раз мы были в темноте, а в этот раз в свете, и что в свете всё честнее.

Он целовал мне ключицы и плечи, и я запрокинула голову и закрыла глаза, потому что утром глаза не нужны, утром всё видно кожей, и я слышала его дыхание и своё, и они шли вровень, как идут вровень два дыхания у людей, которые всю ночь варили одну формулу. Я сняла с себя платье сама и не отвернулась, и он смотрел на меня без той жадности, которой я

боялась у других, а с тем вниманием, которое у него было вместо всего остального, и я подумала, что вот оно: быть раздетой при свете и не искать, куда деть руки.

- Иди ко мне, - сказала я.

Он пошёл. Я была сверху и вела сама, потому что так решила, и потому что вести было хорошо, и потому что он умел быть ведомым, что даётся не каждому, и я чувствовала, как он отвечал мне всем телом, и как его руки держали меня, не направляя, и как он дышал мне в плечо, и дыхание это было горячее и ровное. Я двигалась медленно, потому что торопиться было некуда, и он сказал мне тихо, что я красивая, и сказал это не как комплимент, а как наблюдение, как говорят "сырьё хорошее", и я засмеялась, и не остановилась, и он засмеялся со мной, и смех в такой момент - это редкость, и я запомнила её отдельно.

Когда мы были близко, я спросила его, можно ли не сдерживаться, потому что сдерживаться я умела всю жизнь и мне надоело, и он сказал: не сдерживайся, и сказал это так, как говорят разрешение на то, что давно пора было разрешить, и я пошла до конца, и он пошёл со мной, и мы кончили вместе, и свет из окна лежал на нас, как лежит свет на вещах, которые наконец-то на своих местах.

Потом мы лежали на диване под пледом, и он держал меня, и я лежала и думала: у меня дома нет такого пледа, и что надо купить, и что это первая мысль о нём, которая была про дом, а не про запах. Он водил ладонью по моему плечу медленно и думал о чём-то своём, и я сказала:

- Расскажи мне что-нибудь.

- Про что?

- Про детство. У меня теперь есть право.

- Почему?

- Потому что я тебя раздела, - сказала я. - Это даёт права.

Он засмеялся и стал рассказывать. Он рассказывал про фабрику, которая была для него домом, и про отца, который мыл руки по двадцать раз в день, потому что "нос должен быть чистым", и про то, как в восемь лет он сам сварил своё первое мыло, кривое, с запахом гвоздики, и отец поставил его на полку в цеху и никому не разрешал трогать. Он рассказывал сам, без вопросов, и я слушала и думала: правило наше трещит не потому, что мы его нарушаем, а потому, что оно стало тесным, как одежда, из которой выросли.

В одиннадцать пришла Рита. Рита пришла как приходит человек, который знает, что в доме гости, и хочет убедиться, что гости съедобные. Она заглянула в мастерскую, увидела на столе две чашки вместо одной и куб, вымытый дважды, и посмотрела на меня. Я посмотрела на неё. Мы обменялись взглядами, которыми женщины обмениваются, когда им не нужны слова.

- Чайник на кухне, - сказала Рита и закрыла дверь.

Вечером, когда Глеб уехал, а Рита осталась со мной закрывать ателье, она сказала, не глядя на меня:

- Я тебе сейчас кое-что покажу. Ты только не злись.

- Я не злюсь.

- Ты злишься, - сказала Рита. - Но это не про него. Это про то, что он Северов.

Она протянула мне телефон. На экране была статья из отраслевого журнала, полугодовой давности, и называлась она так: "Фабрика "Северов" и её аппетит: кого съест следующий?". Внутри было про то, как за три года фабрика скупила два маленьких производства и одну лабораторию, и про то, что владелец меняет курс, и про то, что нишевым ателье стоит держаться подальше от их контрактов. Фотография была его: Глеб Северов в тёмном костюме, не в рубашке с закатанными рукавами, и на фотографии он был не тот, и я почувствовала, как у меня внутри что-то встало на место, и место это было старое и знакомое, и называлось оно "я так и знала".

- Спасибо, - сказала я.

- За что? - спросила Рита.

- За то, что показала до того, как я стала бы совсем дурой, - сказала я.

Но я уже была не совсем дурой, и я уже не хотела думать про это сегодня, и я убрала телефон в сумку и заперла ателье, и пошла домой одна, и по дороге нюхала апрель, и апрель пах дождём, и я думала: у каждой формулы есть подложка, и у каждого человека есть статья, и что я пока не знаю, что у него подложка, а что статья.

Глава 8. Легенда

Презентация была назначена на три, и я приехал в офис сети за час, потому что час до чужих презентаций - это то время, за которое можно понять про зал всё: где свет, где розетки, где у комиссии привычка сидеть. Зал был хороший: дерево, вода на столах, окно на Неву. В углу стоял стол с образцами других участников: три чужих флакона, два диффузора и карточка с золотым тиснением от агентства, которое делает ароматы для отелей так же, как пекут хлеб на заводе: ровно, быстро и без запаха рук. Я посмотрел на чужой диффузор и понял, что спокоен: у нас было то, чего у них не было. История. Проблема была в том, что история была наша, и её нужно было рассказать так, чтобы она осталась нашей.

Я поставил ноутбук и проверил слайды, и на третьем слайде стояла фотография пробника с нашим ароматом, и подпись под ней была её: "Перед дождём. Рабочая версия". Я посмотрел на подпись и подумал, что у неё почерк даже в печатных подписях: она ставила точку после слова "дождём", и точка была с характером.

Литвинов пришёл с двумя людьми из совета, и они сели так, как садятся люди, которые будут решать, и начали так, как начинают люди, которые уже решили, но хотят посмотреть, что им покажут. Я рассказал про формулу: верхние ноты, сердце, подложка, про стойкость на текстиле и про то, что аромат отеля должен жить в памяти постояльца дольше, чем живёт в номере. Они слушали и записывали, и женщина из совета спросила про аллергены, и я ответил, и мужчина из совета спросил про стоимость литра, и я ответил, и всё шло хорошо, ровно до той секунды, пока Литвинов не сказал:

- А теперь легенда.

- Легенда в разработке, - сказал я.

- Легенда - это не разработка, - сказал Литвинов. - Легенда - это то, что мы напечатаем на карточке в номере и что гость прочитает перед сном. У нас есть отель в Калининграде, у него легенда про янтарь, и продажи их аромата в сувенирной лавке - это треть дохода спа. Мне нужна легенда. Что за история у вашего запаха?

- История простая, - сказал я. - Город, в котором двести дней в году дождь. Отель, в который входят мокрые. Запах, который превращает сырость в море.

- Это концепция, - сказал Литвинов. - Концепция продаёт специалистам. Легенда продаёт людям. Мне нужна история с людьми. Кто это придумал? Где? Почему? Мне нужен рассказ на восемь строк, после которого хочется купить флакон домой.

Я молчал. Я молчал ровно столько, сколько молчит человек, у которого история есть и который знает, что не имеет права её рассказать. История у нас была. История случилась на пирсе в Сочи, и начиналась она с зонта, и заканчивалась флаконом, и в середине её стояли двое людей без имён, и этими людьми были мы. Легенда была готова. Легенда была правдой. Правду я рассказать не мог.

- Дайте нам неделю, - сказал я. - Мы вернёмся с легендой.

- Неделя, - сказал Литвинов. - И Глеб: легенда должна быть настоящей. Фальшивые легенды я научился отличать за двадцать лет работы. Настоящие пахнут иначе.

Он сказал "пахнут", и я подумал, что в этом городе все говорят про запахи, и попрощался, и поехал обратно на фабрику, и по дороге думал: сказал Литвинов про фальшивые легенды. Фальшивые легенды пахнут иначе. Я знал это лучше него: я пять лет жил с фальшивой легендой собственной жизни, и легенда эта называлась "дело сначала, правда потом", и пахла она так, как пахнут все фальшивые легенды: ничем. У настоящей лжи есть запах. У легенды, в которую не веришь сам, запаха нет, и это хуже.

На фабрике меня ждала Марина, и ждала она с тем выражением, которое у неё появляется, когда в производстве что-то меняется к лучшему, и она не хочет говорить первой, чтобы не сглазить.

- Новая партия листа пришла, - сказала Марина.

- И?

- И она чистая, - сказала Марина. - Я прогнала хроматограмму дважды. И я поставила выдержку той партии, что мы слили, и сердце удержалось. Мы можем делать базу.

- Алиса?

- Алиса сказала, что сердце держится, потому что ему не дали упасть, - сказала Марина. - Это её слова. Я их записала, потому что такие слова записывать надо.

Я пошёл в склад сырья. Это была моя привычка, которую Марина называла суеверием, а я называл контролем: когда партия вставала на выдержку, я приходил в склад и нюхал сырьё, из которого она сделана, потому что сырьё - это прошлое партии, и по прошлому видно будущее. Склад пах фиалковым листом новой партии, и лист пах чисто и ровно, и я постоял над ним и подумал о том, что сырьё не виновато никогда: виноваты всегда руки, дороги и сроки, и что в этот раз виноват был не лист, а я, потому что партию номер два я принимал сам и подпись моя стоит в журнале.

Я сел за свой стол и стал смотреть на график. График был обычный: сырьё, варка, выдержка, дегустация, защита. Защита стояла в конце, как стояла с первого дня, и между нами и защитой лежало ещё четыре недели, и четыре недели - это много времени, если не считать того, что времени этого не было. Я открыл файл с брифом и стал думать про легенду.

Думать про легенду было некуда: легенда была одна, и она была наша, и она была правдой, и правда эта лежала у меня в ящике стола в виде старого блоттера. Я достал блоттер и положил его на стол рядом с ноутбуком, и они лежали рядом, как лежали в первый день, и я думал: могу написать легенду и не назвать имён: история двух людей, которые встретились под дождём и не спросили друг у друга ничего, и встретились потом, и стали делать один запах на двоих. Это была настоящая легенда. Это была единственная легенда, которая у нас была. И я не мог её написать, потому что для легенды нужно было её согласие, а спросить её согласия означало рассказать ей всё.

Вечером я позвонил ей. Она взяла после третьего гудка, и я услышал на фоне звук куба, и подумал, что она опять работает ночью, и подумал, что это семейное - работать, когда все спят.

- Слушаю, - сказала она.

- Легенда, - сказал я. - Сеть хочет легенду.

- Я помню.

- У меня есть идея, - сказал я. - Но я не могу её записать без тебя.

Она молчала. Я слышал, как гудит куб, и как она дышит, и думал: по телефону молчание звучит иначе, чем в лаборатории: по телефону молчание - это расстояние, а в лаборатории - это присутствие.

- Приезжай завтра, - сказала она. - Напишем вместе.

- Хорошо, - сказал я.

- И ещё, - сказала она. - Глеб.

- Да?

- Статья про "аппетит фабрики", - сказала она. - Я её читала.

У меня внутри всё встало, как встаёт партия, в которой поплыли верхние. Я знал, что эта статья существует, и знал, что она её прочтёт, и не знал, когда. Я выбрал не думать об этом сегодня, и сегодня наступило.

- Статья старая, - сказал я.

- Статьи не стареют, - сказала она. - Они ждут. Я не спрашиваю тебя про неё. У нас правило. Я говорю тебе, что я её читала, чтобы между нами не было того, что появляется, когда один читает, а второй думает, что нет.

- Спасибо, - сказал я.

- Не за что, - сказала она. - Спокойной ночи.

Она положила трубку, и я сидел с телефоном и думал о том, что она только что сделала то, чего не сделал я: положила между нами правду, прежде чем правда легла между нами сама. Она не спросила. Она сказала. Разница между этими словами - это разница между человеком, который ждёт, и человеком, который выбирает, и я вдруг очень ясно понял, что пять лет назад на пирсе я держал зонт над человеком, который умеет выбирать, и что я не имел права эти пять лет решать за неё, когда ей узнавать.

Я написал себе в ежедневник: защита - легенда - сказать всё. Три пункта, один путь. Потом подумал и дописал четвёртый: после тендера. Не раньше. Дело должно стоять само, чтобы она знала, что всё, что было, было не ради дела.

Утром в пятницу мне позвонил Литвинов. Голос у него был тот самый, деловой, и сказал он то, что делают люди, у которых в календаре двигаются чужие жизни.

- Глеб, защита переносится, - сказал он. - Совет собирается раньше, у них окно. Не через четыре недели, а раньше. Тринадцатое мая. Успеете с легендой?

Я посмотрел на график. Тринадцатое мая лежало на столе, как лежит на столе деталь, которая не сходится: дегустация не готова, выдержка не закончена, легенда не написана, и правда, которую я собирался сказать после, теперь должна была случиться раньше, чем я был готов.

- Успеем, - сказал я.

- Отлично, - сказал Литвинов. - И Глеб: пригласите Крамер. Пусть говорит она. Совет любит авторов.

Я положил трубку и стал переставлять график, и руки у меня были спокойные, и голова была холодная, и только где-то очень глубоко лежала одна мысль, которую я не поднимал: я назначил правде срок, и срок этот только что сократили, и правда не умеет ждать в очереди.

Глава 9. Тройной тариф

В понедельник я приехала на фабрику писать легенду, и слово это стояло у меня в голове всё утро, как стоит нота, которая не хочет садиться в формулу. Легенда. Сеть хотела историю, и историю эту мы должны были сочинить вдвоём, и я ехала в метро и думала о том, что сочинять нам нечего: всё настоящее у нас было не сочинено, а случившееся не было настоящим, потому что было недоговорено.

На проходной меня узнали, и охранник кивнул, и я пошла по двору, мимо цеха, из которого тянуло тёплым кедром, и мимо склада, где разгружали сырьё, и думала о том, что за шесть недель эта фабрика стала для меня вторым домом, и что у второго дома, как у всякого дома, есть свои стены, и я пока не знаю, что за ними. Люди во дворе здоровались со мной как со своей, и я кивала и думала о том, что привычка быть где-то своей - это тоже сырьё: она копится незаметно, а потом работает в каждой формуле.

Глеб встретил меня в коридоре, и вид у него был человека, который спал меньше, чем говорит.

- Прости, - сказал он. - Мне нужно в цех: Марина ставит выдержку, я обещал быть. Папка по нашему кейсу у меня в кабинете, на столе, синяя. Возьми, там всё для легенды. Я на двадцать минут.

- Иди, - сказала я.

Кабинет у него был такой, как я представляла себе по голосу: стол, шкаф, окно на двор, и ничего лишнего, кроме запаха. Пахла в кабинете бумага и немного кедр, и я подумала, что кедр здесь лишний, а потом поняла, что кедр здесь не лишний, а наследственный: фабрика начиналась с кедра и мёда, и он держал этот запах у себя, как держат семейную фотографию. Синяя папка лежала на столе, и рядом с ней лежала вторая, тонкая, серая, без подписи, и я бы не посмотрела на неё, если бы не одна деталь: из-под обложки серой папки торчал уголок бумаги, и уголок был жёлтый, старый, такой жёлтый, каким бывает только бумага, которая лежит долго.

Я не собиралась смотреть. Я честно не собиралась. Я протянула руку к синей папке, и рука моя шла к синей папке, и остановилась над серой, и я сказала себе: это чужой стол, и это не твоё дело, и это правило. Потом я сказала себе второе: ты пять лет хранишь это дело в нижнем ящике. Потом я открыла серую папку.

Внутри лежали бумаги частных заказов, старых, за прошлые годы: брифы, письма, расчёты, и я листала их, как листают архив, ища не то, что нужно, а то, что узнаётся. До этого были чужие брифы: чужие свадьбы, чужие прощания, чужие гостиницы, и каждый был про то, как люди хотят пахнуть чужими руками. На полях стояли деловые пометки тем самым почерком: сроки, тарифы, пожелания. Заказов было много, и это была его вторая жизнь, про которую я ничего не знала: человек, который годами заказывал незнакомцам запахи про свои главы. Я узнала на третьей странице. Бриф был мой. Не копия моего брифа, не похожий бриф: мой. Аромат прощания, зима, тройной тариф, посредник Павел. Бумага была та самая, которую я держала в руках пять лет назад, только с другой стороны: на моей копии не было пометок, а на этой были, и пометки были сделаны почерком, который я видела в блокноте две недели назад. Я прочитала пометки. Их было три: "здесь медленнее", "не бойтесь пустоты", "финал должен оставаться". Те самые. Мои любимые. И под ними, внизу страницы, ещё одна, которой я не видела никогда, потому что она была сделана на копии заказчика: "Оплатить тройной тариф. Имя автора не спрашивать. Не тянуть".

Я сидела в его кабинете и держала в руках лист, и слышала, как за окном во дворе кто-то двигает паллеты, и думала очень ровными мыслями, как думаю, когда внутри у меня что-то встаёт на место. Он. Это был он. Мой первый заказ, тот самый, который сделал меня, заказал

человек, с которым я теперь шесть недель делаю один аромат. Он знал мою работу. Он читал мой бриф. Он писал мне пометки, которые я пять лет считала чужой добротой, и доброта эта была его, и он молчал.

Дверь открылась.

- Ты быстро, - сказал Глеб. - Я думал, ты уже начала.

Он остановился на пороге. Я сидела за его столом с серой папкой в руках, и между нами лежало расстояние в три шага и пять лет, и он смотрел на папку, и я видела, как он считает про себя то, что мне уже не нужно было считать.

- Садись, - сказала я.

Он сел. На стул напротив, как садятся люди, которые понимают, что стоять больше нельзя.

- Аромат прощания, - сказала я. - Зима. Тройной тариф. Посредник Павел. Это был ты.

- Да, - сказал он.

Он сказал это сразу, без паузы, и за это ему спасибо: сделай он паузу, я бы не простила.

- Почему?

- Я закрывал главу, - сказал он. - Пять лет назад у меня был год, который нужно было пережить. Мне нужен был запах, который это умеет - запах, которым прощаются. Я искал того, кто сделает. Мне дали твоё портфолио. Я не знал, кто ты. Я видел работы.

- Тройной тариф, - сказала я.

- Работа стоила тройного, - сказал он. - Ты сделала лучший аромат прощания, который я слышал.

- Имя автора не спрашивать, - сказала я.

- Я не хотел светиться, - сказал он. - У меня был сложный год.

- А пометки? - спросила я. - Здесь медленнее. Не бойтесь пустоты. Финал должен оставаться. Это тоже про главу?

Он молчал секунду, и я видела, как он выбирает, и выбрал он честно.

- Это был совет, - сказал он. - Я читал твой бриф и видел, что ты торопишься к финалу. Я знал, что такое торопиться к финалу. Хотел, чтобы ты не торопилась.

- Ты дал мне совет через заказчика, - сказала я.

- Я дал его работе, - сказал он. - Автору я дать его не мог. Я не знал, кто автор.

Я смотрела на него. Он сидел напротив и отвечал мне ровно, и всё, что он говорил, было правдой, и я слышала это так, как слышу формулы: правдой была каждая нота. И всё-таки в формуле чего-то не хватало. Одной ноты. Верхней. Той, которая отвечает за первое впечатление и уходит первой.

- Ты говоришь правду, - сказала я.

- Да, - сказал он.

- Не всю, - сказала я.

Он молчал. Я видела, как он выбирает, и знала, что у нас есть правило, и знала, что правило придумал он, и знала, что прямо сейчас правило работает на него, и мне стало от этого тошно.

- У нас есть правило, - сказал он наконец. - Никаких личных вопросов. Ты сама его предложила.

- Я предложила его не для того, чтобы в него прятаться, - сказала я.

- А для чего?

- Для того, чтобы работать, - сказала я. - А сейчас я не могу работать, потому что между мной и работой стоишь ты с папкой, которую прятал.

Он встал и прошёлся по кабинету, и остановился у окна, и я смотрела на его спину и думала о том, что спины у людей тоже пахнут: его пахла кедром и тем особенным запахом, который я знала лучше всех, и который теперь был для меня запахом человека с двойным дном.

- После защиты, - сказал он. - Я расскажу тебе всё. Всё, что ты спросишь, и то, что не спросишь. Я хочу рассказать тебе это сам, целиком, а не по кускам, в коридоре, между цехом и легендой. Дай мне три недели.

- Две с половиной, - сказала я. - Защита тринадцатого.

Он повернулся ко мне.

- Ты знаешь дату?

- Мне Литвинов написал утром, - сказала я. - Перенос.

Он кивнул. Мы стояли в кабинете, и между нами лежала серая папка, и правда была поделена между нами не поровну: у него было больше, у меня меньше, и меньшая половина была злее. Я подошла к нему сама. Я не знаю, зачем я это сделала: то ли чтобы проверить себя, то ли чтобы проверить его, то ли чтобы задать вопрос, который задаётся не словами. Я взяла его за рукав, там, где рубашка была закатана, и поцеловала его, и поцелуй был короткий, и в нём не было ничего, кроме вопроса, и вопрос был: что ты ещё прячешь. Он ответил на поцелуй, и в его ответе не было ничего, кроме того же вопроса, и мы отстранились одновременно, и оба знали, что ответом это не было.

- Я буду работать, - сказала я. - Легенду напишем. Защиту проведём. Но знай: каждый твой ответ с этого дня я буду слушать дважды. Один раз ушами. Один раз носом.

- Справедливо, - сказал он.

- Легенда, - сказала я. - Садитесь. Мы за ней пришли.

Он сел. Я открыла синюю папку и положила перед собой лист, и мы писали легенду, и это было странно: писать историю двух людей, сидя напротив человека, который прячет от тебя свою, и я чувствовала, что выдуманное на лист не идёт, и не пошло.

- Не то, - сказала я и перевернула лист. - Сеть просит историю с людьми. Напишите одну строчку про человека, который придумал этот запах. Одну.

- Город, в котором двести дней дождя, - написал он.

- Это про город. Про человека.

Он молчал, и я видела, что у него есть строчка про человека, и что он её не напишет.

- Отель, в который входят мокрые, - написал он.

- Уже лучше, - сказала я. - А теперь про то, почему.

- Потому что дождь снаружи и тепло внутри, - написал он. - И одно без другого не работает.

Я посмотрела на строчку. Это была правда, и это была его правда, и я её узнала, хоть и не поняла.

- Оставим, - сказала я. - Остальное допишу сама.

Я забрала синюю папку и пошла к двери. У двери я обернулась, потому что была одна вещь, которую я хотела сделать правильно, прежде чем уйти в работу с головой.

- Папку забери себе, - сказал он мне в спину.

Я остановилась.

- Копию брифа, - сказал он. - Ту, что ты держала. Она твоя. По-настоящему твоя. Я хранил её пять лет, потому что не имел права выкинуть чужую работу. Забери. Пусть лежит у тебя.

Я вернулась к столу и взяла лист, и сложила его вчетверо, и положила в свою сумку, к блокноту, и он лёг туда так, как ложатся на место вещи, которые долго были не там. У двери я посмотрела на него в последний раз за день: он стоял у окна, в своей рубашке с закатанными рукавами, и разглаживал край стола большим пальцем, и делал это так, как делают люди, которым нужно занять руки.

Вечером я достала из нижнего ящика свою копию брифа и положила рядом с его, и они лежали на столе, два листа одной бумаги, и я смотрела на них и думала о том, что у меня в руках два доказательства одной правды, и что правда эта неполная. Он заказал мне первый

аромат. Он не знал, кто я. Он видел работы. Всё это было правдой, и всё это ложилось на формулу, и формула всё равно не сходилась, потому что в ней оставалась одна нота, которой он не дал мне названия, и нота эта пахла морем. Перед дождём.

Глава 10. В темноте

Дегустация прошла в четверг, и прошла так, как проходят вещи, которые сделаны правильно: без оваций, с тишиной. Литвинов привёз двух людей из совета, и мы с Алисой поставили перед ними шесть блоттеров: три рабочих версии и три контрольных, и они нюхали по кругу, молча, и женщина из совета нюхала с закрытыми глазами, и это был хороший знак: закрывают глаза те, кто слушает. Потом Литвинов сказал:

- Это оно. Не финальное, но направление верное. Доводите.

- Доведём, - сказала Алиса.

- Легенда?

- Легенда пишется, - сказала Алиса, и я понял по её голосу, что легенда не пишется, и что она знает, что я это понял, и что мы оба знаем, почему.

После дегустации Марина отвела меня в сторону и сказала, что партия номер четыре стоит ровно и что контрольные образцы ушли на хранение под её личную подпись. Это был её способ сказать то, что она не говорит прямо: всё в порядке, можно выдохнуть. Выдохнуть было нельзя: легенда не была написана, и дата защиты двигалась на нас, как движется льдина на пароход, если она видна с мостика и не видна снизу. Алиса знала про перенос. Я знал, что она знает. Мы оба делали вид, что времени много.

Вечером мы поехали ко мне. Это было её решение, не моё: после дегустации она сказала "поехали к тебе", и я сказал "поехали", и мы поехали, и по дороге она смотрела в окно на город, и молчала, и молчание её было из тех, в которых человек что-то складывает, и я не лез в это складывание, потому что научился за эти недели одному: в её молчания не входят без приглашения.

Лофт у меня на последнем этаже старой водонапорной башни, и я купил его потому, что из него было видно фабрику, и потому, что в нём пахло деревом. Я открыл дверь и включил свет, и она вошла и остановилась посреди комнаты, и огляделась так, как оглядываются люди, которые пришли в дом впервые и хотят понять хозяина без слов.

- У тебя пахнет фабрикой, - сказала она.

- Фабрика рядом, - сказал я.

- Нет, - сказала она. - Не поэтому. Ты сам пахнешь фабрикой. Это твой запах, а не её.

Она сказала это просто, как говорят правду, и я почувствовал, как что-то во мне встало по месту, потому что я всю жизнь думал, что пахну фабрикой из-за стен, а она сказала, что пахну ею изнутри, и это было другое.

- Ужин? - спросил я.

- Чай, - сказала она.

Я поставил чайник, и мы сели у окна, и фабрика светилась внизу, и она пила чай медленными глотками и смотрела на неё.

- Красивая, - сказала она наконец.

- Кто?

- Фабрика, - сказала она. - Когда горит. Похожа на корабль, который никуда не плывёт.

- Она и не плывёт, - сказал я. - Она стоит. Это её работа.

- Стоять труднее, чем плыть, - сказала она. - Плывущему можно не думать куда.

Я посмотрел на неё. Она смотрела на фабрику, и чай у неё в чашке остывал, и я понял, что она говорит не про фабрику, и не спросил, потому что она сама скажет, когда решит.

- Глеб. У меня к тебе просьба.

- Говори.

Она стояла посреди комнаты, в своей куртке, и смотрела на меня так, как смотрят люди, которые собираются сказать что-то, чего стесняются, и стесняются не слов, а того, что за словами.

- Выключи свет, - сказала она. - И не зажигай. Я хочу запомнить тебя без света.

Я смотрел на неё. Просьба была странная, и просьба была простая, и я понимал её так, как понимают формулу: она хотела меня без зрения, потому что зрение - это то, что люди показывают, а она хотела то, что люди не показывают. Она работала носом и руками всю жизнь, и она хотела меня так, как умеет.

- Ты уверена? - спросил я.

- Да, - сказала она. - И ещё одно. Я буду говорить тебе, что делать. Ты не обижайся.

- Я не обидчивый, - сказал я.

Я выключил свет. Темнота легла не сразу: сначала окно, потом углы, потом всё остальное, и осталась комната, в которой было видно только то, что в ней нельзя увидеть. Она подошла ко мне сама, и взяла меня за руку, и отвела к дивану, и посадила, и я сел, и сидел, и ждал, и ждать было труднее, чем я думал, потому что я всю жизнь был тем, кто ведёт: на фабрике, в переговорах, в доме, и даже в темноте я по привычке искал, за что держать, и не находил.

- Руки на колени, - сказала она.

Я положил руки на колени. Она обошла меня медленно, и я слышал её шаги, и по шагам было понятно, что она смотрит на меня так, как смотрит на сырьё: оценивает, не трогая. Потом она встала передо мной и сказала:

- Дыши.

Я дышал. Она провела ладонью по моему лицу, снизу вверх, как проводят по вещи, которую хотят запомнить пальцами, и я понял, что она меня запоминает, и от этого понимания у меня внутри всё остановилось, потому что меня не запоминал так никто: не разглядывал, не оценивал, а записывал.

- Щека тёплая, - сказала она. - Щетина вечерняя. Складка у рта на месте. Я её уберу потом.

- Твоя очередь, - сказала она. - Говори, что чувствуешь.

Я чувствовал её дыхание на своей коже, и запах её волос, и тот самый её запах, который я знал лучше запаха собственной фабрики, и стал говорить, потому что в темноте слова стоят дешевле, а правды в них больше.

- У тебя волосы пахнут ателье, - сказал я. - Воском и немного кубом. На запястье - подложка нашей партии. Я её узнаю везде.

- Правильно, - сказала она. - Я сегодня ставила пробу и не отмылась. Ещё что-то?

- Дождь, - сказал я. - Ты принесла его на куртке.

Она засмеялась тихо, и смех её лёг мне на грудь, как ложится нота, которую долго искал.

Она расстегнула мою рубашку сама, медленно, пуговица за пуговицей, и я сидел и не помогал, потому что помощь была бы вмешательством, а вмешиваться было нельзя. Рубашка легла рядом. Она провела ладонью по моей груди, по плечам, и ладонь у неё была сухая и точная, и я думал о том, что вот так выглядит доверие, когда его показывают руками.

- Теперь моя очередь говорить, - сказал я.

- Говори, - сказала она.

- Иди ко мне.

Она села ко мне на колени, и я обнял её, и это было единственное, что мне было разрешено, и я понял, как мало человеку нужно разрешить, чтобы он почувствовал всё. Она пахла собой и немного моим лофтом, потому что сидела у окна, пока я готовил чай, и запахи эти уже мешались, и это было то самое, про что она говорила: у неё не было имени для важного, и у меня не было.

Платье её я не снимал: она сняла его сама, встала и сняла, и я слышал, как легла ткань, и сидел с закрытыми глазами, потому что свет был выключен, но глаза я закрыл сам, для честности. Она вернулась ко мне, и мы легли, и темнота была полная, и в полной темноте тело слышно лучше, чем видно: я слышал её дыхание, и своё, и как они идут навстречу друг другу.

- Глеб, - сказала она.

- Да.

- Не торопись. Сегодня можно медленно.

- Хорошо, - сказал я.

Мы не торопились. Я не знаю, как рассказать про это так, чтобы не вышло стыдно или плоско, и скажу только то, что было главным: она вела, и я шёл. Она вела меня своими руками и своим дыханием, и я шёл туда, куда она вела, и впервые за много лет я не держал ни одной нити в своих руках, и оказалось, что можно не держать, и что мир не падает, если его отпустить. Она спрашивала меня словами и не словами, и я отвечал, и ответы были честные, потому что в темноте врать трудно: в темноте слышно, где правда, а где нет. Я чувствовал её над собой и вокруг себя, и чувствовал, как она дышит всё глубже, и дышал с ней вместе, и думал о том, что близость - это не про то, чтобы взять, и не про то, чтобы дать, а про то, чтобы на время перестать быть одним человеком и не испугаться этого.

Когда мы были близко, она сказала:

- Вместе.

- Вместе, - сказал я.

И мы были.

Потом лежали в темноте и дышали, и она лежала у меня на плече, и я гладил её по волосам, и думал о том, что вот она, правда, которую я собирался сказать после: не пафосная и не страшная, а вот такая, с волосами и дыханием, и что сказать её нужно не для того, чтобы заслужить прощение, а для того, чтобы перестать отнимать у неё право знать.

- Глеб, - сказала она. - У тебя есть что-то, что ты мне не говоришь.

У меня внутри всё остановилось.

- Есть, - сказал я.

- Не говори когда, - сказала она. - Скажи хотя бы: это про нас?

Я подумал. Это было про нас. Это было про нас с самого начала, просто я один знал про это, а она нет.

- Это про нас, - сказал я.

- Тогда я подожду, - сказала она. - Только недолго. Это не терпение. Это срок годности.

- Глеб, - сказала она.

- Да?

- Ты пахнешь, - сказала она. - Не так, как пахнут люди. По-другому.

У меня внутри всё встало.

- Как? - спросил я.

- Не знаю, - сказала она. - Знакомо. Как будто я тебя уже нюхала. Давно.

Она сказала это задумчиво, как говорят во сне, и замолчала, и через минуту дыхание у неё стало ровным, и я понял, что она уснула. Я лежал и не двигался, и думал о том, что нос у неё лучше моего, и что она знала, и что не знала, и что время у правды кончается быстрее, чем я думал. Потом я встал, аккуратно, чтобы её не разбудить, и взял плед, и накрыл её, и сел у окна.

За окном была ночь, и в ночи светилась фабрика, и я смотрел на неё и думал о том, что сделал сегодня всё правильно и всё не вовремя. Потом я подошёл к столу и открыл верхний ящик, и достал блоттер, и положил его на подоконник, рядом с собой, и он лежал там, жёлтый, с её почерком, "море перед дождём, попытка семнадцать", и я смотрел на него и думал, что после защиты отдам ей и его, и расскажу всё, и что это будет честно, и что честно - это не награда, а плата.

В три часа ночи я написал в ежедневнике одну строку: "Тринадцатого. Сказать всё. До". И лёг рядом с ней, и уснул, и снился мне дождь, и на этот раз он был тёплый.

Глава 11. Попытка семнадцатая

Пятого мая у нас был первый выходной за месяц, и мы решили, что не будем работать, и решение это держалось ровно до десяти утра, пока я не поймала себя на том, что считаю в уме пропорции подложки, и не сказала вслух:

- Нет.

Глеб сидел напротив меня в кафе на Петроградской стороне и смотрел на меня с тем выражением, которое у него появлялось, когда он видел, как я разговариваю сама с собой.

- Что нет? - спросил он.

- Подложка, - сказала я. - Я не могу перестать про неё думать. Это непрофессионально.

- Это профессионально, - сказал он. - Непрофессионально - это когда можешь.

Мы сидели в кафе, и за окном шёл дождь, и это был тот самый дождь, который в этом городе идёт не сверху, а отовсюду, и мы пили чай, потому что кофе в этом кафе варили для других людей, и я думала о том, что у нас с ним появилась привычка, и привычка эта была опасная: привычка быть вместе не по делу.

- Пойдём гулять, - сказал он.

- Дождь.

- У меня зонт, - сказал он.

Я посмотрела на него. Он сказал это просто, как говорят про зонт, но слово легло на меня странно, как ложится нота, которую уже где-то слышал. У него зонт. У всех есть зонт. Мы оделись и вышли, и он раскрыл зонт, большой, чёрный, и мы пошли под ним вдвоём, и я шла и думала о том, что идти под одним зонтом - это тоже формула: два человека, одно сухое место, и кто-то один всегда мокнет за двоих.

Мы шли по набережной, и город был серый и мокрый, и пах так, как пахнет в мае: водой, камнем и чем-то зелёным, что пробивается сквозь камень, и я нюхала его всю дорогу, потому что не могу иначе, и потому что город - это тоже работа. Глеб шёл рядом и молчал, и молчание у него было правильное, не то, которое нужно заполнять, и я думала о том, что вот бы так всегда: идти и молчать, и не держать в голове ни защиты, ни легенды, ни серых папок.

Мы свернули с набережной в переулки, и город в выходной пах иначе, чем в рабочий день: без машин, без кухни из окон, и запах у него становился честнее, как у человека, который снял пиджак. Мы зашли в букинистический, и он стоял у полки и листал старую книгу про мыловарение, и я видела, что он читает её не глазами, а носом: нюхал страницы, как нюхают пробу. Это был единственный человек в моей жизни, который понимал, зачем нюхать страницы, и я стояла между полками и думала о том, что люди, которые понимают такое молча, встречаются раз в несколько лет, и что мой человек с пирса, которого я не могла забыть пять лет, был из этой же породы, и что это совпадение пугало меня больше всех несовпадений.

- Знаешь, что я понял? - сказал он.

- Что?

- Я три года не гулял без дела, - сказал он. - Ходил на встречи, на объекты, на осмотры. А просто гулял - не помню когда.

- Это лечится, - сказала я.

- Чем?

- Выходными, - сказала я. - Это как отпуск для носа: если не делать, перестаёшь различать запахи.

- У носов бывает отпуск?

- У всех бывает, - сказала я. - Даже у фабрикантов.

Мы вышли из магазина под зонт, и дождь ждал нас там, где мы его оставили.

- Глеб, - сказала я.

- Да?

- Я хочу тебе кое-что рассказать.

Он не ответил сразу. Он шёл и держал зонт, и ждал, и это было правильно.

- Пять лет назад, - сказала я, - я встретила одного человека. В Сочи. Под дождём. Мы гуляли час, и я не знаю, как его зовут.

Я сказала это и замолчала, и ждала, что он скажет, и не дождавшись, продолжила.

- Он спросил меня, чем пахнет море перед дождём. Я тогда только закончила учиться. Я отдала ему блоттер со своей записью, а он отдал мне флакон. Утром он исчез. Я пять лет храню этот флакон и ни разу его не открыла.

Мы шли, и дождь шёл, и зонт держал нас обоих, и я ждала его реакции так, как ждут результата пробы. Он молчал долго. Потом сказал:

- Почему ты рассказываешь это мне?

- Потому что ты спросил меня про море перед дождём, - сказала я. - В первый день. И потому что я хочу знать, что ты скажешь.

Он остановился. Мы стояли посреди набережной, под зонтом, и дождь шёл вокруг нас стеной, и он смотрел на меня, и я видела его лицо очень близко, и на лице у него было то самое, что я видела в первый день: сдвиг, который он не успел убрать.

- Что ты хочешь, чтобы я сказал? - спросил он.

- Правду, - сказала я. - Любую.

Он молчал. Я видела, как он выбирает слова, и знала, что у него есть слова, и что он их не говорит, и что между его словами и моим вопросом лежит то же, что лежит между нами всё это время: недоговорённость, выдержанная, как выдерживают партию, которую боятся испортить.

- Я скажу тебе про это после защиты, - сказал он. - Вместе со всем остальным.

Я кивнула. Я не стала давить, потому что научилась у него одной вещи: у правды есть выдержка, и раньше времени она не открывается. Но внутри у меня всё уже стояло по своим местам, и место это было неприятное: фраза про море, зонтик, флакон, блоттер, почерк, тройной тариф. Всё ложилось на одну формулу, и формула эта была про него, и я не хотела, чтобы она сходилась.

Вечером я пришла домой и первым делом достала косметичку. Флакон лежал там, где лежал пять лет: между кистями и блокнотом, тёмный, с притёртой пробкой. Я села с ним за стол, и поставила перед собой, и смотрела на него, и думала о том, что сегодня я рассказала про него человеку, который, возможно, был его частью, и что открывать флакон нужно именно сегодня, потому что завтра будет поздно, а вчера было рано.

Я открыла его. Пробка поддалась не сразу, как поддаются пробки, которые долго держат, и я поднесла флакон к лицу, и вдохнула, и замерла.

Мёд. Кедр. И немного железа.

Я вдохнула ещё раз, потому что носу нужен перерыв, чтобы поверить, и вдохнула третий. Мёд и кедр лежали густо и тепло, и железо стояло на дне, как стоит на дне то, что не растворяется. Я знала этот запах. Я слышала его один раз в жизни, и было это не в Сочи, и не в памяти, а на фабрике, в архиве, у полки девяностых, и я тогда сказала: хорошее было мыло. Я сказала это и ещё сказала, что нюхала его где-то давно. Я не знала где. Теперь знала.

Я сидела и проверяла себя, как проверяю формулу: хочу ли я этого, или оно правда. Хотеть этого я не хотела. Правда была правдой. Мёд и кедр архивного мыла и мёд и кедр флакона были не похожи - они были одинаковы, как одинаковы две ноты из одной партии, и даже железо на дне совпадало, то самое железо, которое бывает только у старого кедра, когда он долго лежал в металле. Я закрыла глаза и увидела архивную полку, и полка была из девяностых, и это значило, что запаху во флаконе было больше лет, чем его владельцу в его нынешней жизни. Это значило, что флакон был семейный. Человек не отдаёт чужому семейное, если только не хочет, чтобы чужой стал своим.

Флакон, который отдал мне человек без имени пять лет назад, пах его фабрикой. Не просто фабрикой: её первой партией, её началом, тем самым, что стоит в архиве за стеклом. Я сидела над открытым флаконом и думала ровными мыслями, потому что когда внутри что-то встаёт на место, мысли становятся ровными, как у человека, который считает. Человек без имени на пирсе имел флакон с запахом фабрики Северова. Человек без имени на пирсе заказал мне первый аромат тройным тарифом. Человек, который заказал мне первый аромат, сидел со мной в одном кабинете и молчал шесть недель. Фабрика Северова начала работу с мыла, мёда и кедра. Всё ложилось. Всё сходилось. Формула была одна, и имя у неё было одно, и имя это я не хотела называть вслух, потому что назвать - значит признать, а признавать мне было страшно.

Я закрыла флакон и поставила его на стол, и сидела с ним до ночи, и никуда не звонила, и не писала ему, и думала о том, что у меня в руках теперь не подозрение, а знание, и что знание это неполное, потому что в нём не хватает одной строки: зачем. Зачем он отдал мне флакон. Зачем заказал аромат. Зачем молчал. Зачем держал зонт так, чтобы мокнуть за двоих.

В одиннадцать пришла Рита с вином, потому что Рита всегда приходит с вином, когда чувствует, что у меня что-то встало на место, и мы сели на кухне, и я рассказала ей про набережную, и про флакон, и про мёд и кедр, и Рита слушала и не перебивала, и только один раз спросила:

- Ты уверена, что это его фабрика?

- Уверена, - сказала я. - Я этот запах ни с чем не спутаю.

- Тогда у меня для тебя новость, - сказала Рита. - Плохая.

- Плохие новости давай завтра.

- Завтра может быть поздно, - сказала Рита. - Мне сегодня звонил Костя из отраслевого журнала. Он пишет материал про тендер. Он спросил меня, правда ли, что Северов запрашивал ваше портфолио ещё в ноябре, до того как сеть объявила список участников.

Я смотрела на Риту.

- В ноябре, - сказала я.

- В ноябре, - сказала Рита. - За полгода до тендера. Алиса, список участников сеть рассылала в марте. Он смотрел вас раньше, чем вас посмотрела сеть.

Я сидела с бокалом и думала. Портфолио. Ноябрь. Полгода назад. Он собирал меня по крупицам за полгода до того, как мы встретились, и встреча наша после этого выглядела уже не встречей, а местом, к которому шли. Я не знала, злиться мне или нет, и это было хуже всего: я не знала.

- Слушай, - сказала я. - Мой первый аромат он заказывал через Павла. Ты помнишь тот заказ?

- Помню, - сказала Рита. - Тройной тариф, зима, прощание. Ты потом месяц ходила как не своя.

- Я потом год была не своя, - сказала я. - Это была лучшая работа моей жизни. И её заказал человек, который теперь делает со мной тендер. Ты понимаешь, что это может значить?

- Я понимаю, что это может значить всё, что угодно, - сказала Рита. - От любви до расчёта. И я понимаю, что ты не узнаешь, пока не спросишь. А спрашивать ты не умеешь.

- Я умею ждать, - сказала я.

- Ждать ты умеешь, - сказала Рита. - Только выдержка у людей короче, чем у вина.

- Спи, - сказала Рита. - Утром будешь знать больше.

Утром я знала не больше. Я знала столько же, просто к знанию добавился день, и в этот день была дегустация, и мне нужно было ехать на фабрику и делать вид, что всё в порядке, и я поехала, и всё было в порядке, и ничего не было в порядке.

Глава 12. Отложить на потом

В пятницу мы доводили формулу, и доводить формулу - это как доводить до ума человека: всё уже почти хорошо, и именно поэтому всё нехорошо. Верхние ноты мы посадили за две недели до этого, сердце держалось с той самой партии листа, и осталась подложка, та самая, про которую Алиса не могла перестать думать на выходных. Подложка у нас стояла на кедре и амбре, и она уходила в кожу слишком быстро, и сеть хотела, чтобы запах жил на белье три дня, и три дня мы ей дать не могли, и это был последний камень в нашей формуле.

- Мускус, - сказала Алиса.

- Мускус съест кедр, - сказал я.

- Мускус съест кедр, если его класть по вашей технологии, - сказала она. - А по моей технологии мускус кедру не соперник, а подкладка. Дайте мне колбу.

Я дал ей колбу. Мы стояли у стола в лаборатории номер два, и она собирала пробу, и я смотрел на её руки и думал о том, что у рук тоже есть почерк: у её рук почерк был тот же, что у её формул, уверенный, без помарок. - Как ты это делаешь? - спросил я. - У тебя мускус не съедает кедр.

- Я кладу его последним, - сказала она. - И на холод. У вас мускус идёт в горячую базу и варится с ней, и он выходит на первый план. Я ставлю его на холодную каплю, и он садится вниз, и кедр остаётся сверху. Это не технология. Это уважение к порядку нот.

Я записал её способ в блокнот. Я записывал её способы всю весну, потому что у неё в руках было то, чего не было в наших регламентах: порядок, который начинается не с чана, а с человека.

Она прогнала пробу и подняла блоттер, и я поднял свой, и мы стояли и нюхали каждый своё, и я видел по её лицу, как формула сходится, потому что лицо у неё в такие моменты было такое, как у человека, который смотрит на что-то издалека и видит, что оно стоит.

- Сидит, - сказала она.

- Сидит, - сказал я.

- Три дня, - сказала она.

- Три дня, - сказал я.

Марина забрала пробу на выдержку, и мы остались в лаборатории одни, и это было то самое состояние, которое бывает после хорошей работы: усталость пополам с пустотой, и в этой пустоте всегда оказывалось место для неё.

- Вечером ко мне? - спросила Алиса.

- Вечером к тебе, - сказал я.

Вечером у неё было тихо. Ателье она закрыла, Риту отпустила, и мы сидели в комнате за мастерской, на том самом диване, и пили чай, потому что вино было не про этот вечер, и за окном был май, и в открытую форточку пахло городом и немного её кубом. Она сидела, подобрав ноги, в большом свитере, и рассказывала мне про клиентку, которая заказала запах своей свадьбы.

- Она хотела запах первого дня, - сказала Алиса. - Мы сделали. Она пришла на вторую примерку и сказала: не то.

- Почему?

- Потому что за месяц до свадьбы они поссорились, и первый день стал пахнуть иначе, - сказала Алиса. - Я ей сказала: мы не пересобираем запахи под настроение, мы пересобираем под правду. Она спросила, какая у неё правда. Я сказала: приходите после свадьбы, тогда и скажем.

- Придёт?

- Придёт, - сказала Алиса. - Они все приходят. Запах - это единственное, что нельзя купить заранее.

Я слушал и думал о том, что вот так выглядит дом: не стены, а то, что в стенах рассказывают.

- Глеб, - сказала она.

- Да?

- Спасибо.

- За что?

- За то, что ты здесь, - сказала она. - Я знаю, что это звучит глупо. Я не умею такое говорить.

- Ты не глупо говоришь, - сказал я. - Ты редко. Это разные вещи.

Она засмеялась и пересела ко мне ближе, и я обнял её, и она положила голову мне на плечо, и мы сидели так, и я чувствовал, как у неё на запястье пахнет наша подложка, та самая, с мускусом, и думал о том, что она носит на себе нашу формулу, как носят кольцо, и что некоторые вещи лучше узнавать по запаху, чем по словам. И ещё я думал о том, что у меня в кармане лежит ежедневник, а в ежедневнике строка про тринадцатое мая, и что строка эта становится всё короче. Я собирался сказать ей всё. Я собирался сказать ей всё после защиты, и я понимал уже, что после - это поздно, и не менял решения, и это было то самое, за что потом платят.

- Знаешь, о чём я думаю? - сказала она.

- О подложке.

- О подложке я думаю всегда, - сказала она. - Я думаю о том, что когда всё это закончится, нам нужно будет понять, что делать дальше. С нами.

- Да, - сказал я.

- Ты не хочешь об этом говорить.

- Я хочу, - сказал я. - Я собираюсь.

Она подалась ко мне и поцеловала меня, тихо и без спешки, как целуют не для того, чтобы продолжить, а для того, чтобы запомнить. Я положил ладонь ей на затылок и подержал так, и чувствовал, как у неё под пальцами бьётся жилка на шее, ровно и спокойно, и думал о том, что поцелуи тоже бывают разные: бывают верхние, которые встречают, а бывают подложечные, которые остаются, и этот был второй.

- Когда? - спросила она.

У меня в телефоне зазвонил Литвинов, и я посмотрел на экран, и экран светился его именем, и Алиса посмотрела на экран, и на меня, и отодвинулась, потому что такие звонки не бывают личными.

- Слушаю, - сказал я.

- Глеб, по срокам, - сказал Литвинов. - Защита тринадцатого, это через пять дней. Совет собирается в два. Вы с Крамер готовы?

- Готовы, - сказал я.

- Легенда?

- Будет, - сказал я.

- И Глеб, - сказал Литвинов. - Один совет, по-человечески. Не тяните с тем, что у вас там недоговорено. Совет это чувствует. Настоящее и фальшивое на защите видно сразу.

Он положил трубку, и я сидел с телефоном в руке и думал о том, что Литвинов второй раз за месяц говорит мне про фальшивое, и что город у нас маленький, и все в нём, кажется, видят то, чего не вижу я. Алиса смотрела на меня и ждала, и ждать она умела лучше всех, кого я знал.

- Три дня, - сказала она.

- Три дня, - сказал я.

- Хорошо, - сказала она.

Она не стала спрашивать. Она вообще всё это время не спрашивала, и я говорил себе, что это уважение, и только сейчас, на её диване, в её свитере, я понял, что это было не уважение, а её собственная выдержка: она ждала, когда я сам, как выдерживают пробу, которую нельзя тревожить. И я понял ещё одну вещь, которую понял слишком поздно: выдержка кончается. У всего кончается. У подложки, у вина, у людей.

Мы досидели вечер тихо. Она уснула у меня на плече под пледом, и я сидел и не двигался, потому что двигать её было нельзя, и думал о том, что скажу ей в понедельник. Я всё продумал: сначала пирс, потом заказ, потом молчание, и про каждый пункт у меня были слова, и слова были честные, и порядок был правильный. Я не продумал только одно: что между моим понедельником и её правдой может встать что-то третье.

В девять утра в субботу мне позвонила Марина и сказала, что выдержка идёт по плану, и мы проговорили про партию минут десять, и я уже хотел класть трубку, когда в дверь позвонили, и я сказал Марине подождать и открыл, и на пороге стояла Рита.

- Добрый день, - сказала Рита.

- Добрый, - сказал я. - Что-то случилось?

- Зависит от того, что вы считаете случившимся, - сказала Рита.

Она стояла в дверях и смотрела на меня так, как смотрят на человека, которому принесли плохие новости и ещё не решили, жалеть его или нет. Я понял, что разговор будет про Алису, и понял это по тому, как она назвала меня на "вы", потому что Рита перешла со мной на "ты" ещё на прошлой неделе.

- Заходите, - сказал я.

Она вошла и села на стул у двери, как садятся люди, которые не собираются задерживаться.

- Алиса знает про ноябрь, - сказала Рита.

- Какой ноябрь? - спросил я, и я уже знал, какой ноябрь.

- Не прикидывайтесь, - сказала Рита. - Вы запрашивали портфолио ателье в ноябре. До списка сети. До всего. Костя из журнала докопался и написал ей. Она знает. Она не спрашивает вас, потому что у неё дурацкое правило не спрашивать, но она знает, и она думает, и когда она думает, она додумывает, и додумывает она всегда в худшую сторону, потому что жизнь её этому научила.

Я стоял посреди своей кухни и понимал, что Рита права по всем пунктам. Я запрашивал портфолио в ноябре: сеть прислала предварительный список ателье всем потенциальным производственным партнёрам, и я читал его, и читал её работы, и это была стандартная практика, и стандартной она была ровно до того момента, пока я не узнал в работах одну, очень старую, очень мою.

- Я могу объяснить, - сказал я.

- Объясните ей, - сказала Рита. - Не мне. Ей. И не после защиты, а раньше, потому что защита - это её работа, и она не должна выходить на неё с головой, в которой вы.

- Я скажу ей в понедельник утром, - сказал я. - До защиты. Я обещаю.

- Обещания я слышала, - сказала Рита. - Посмотрю.

Рита встала и пошла к двери, и у двери остановилась.

- Знаете, что странно? - сказала она. - Я пришла к вам злая. А ухожу не злая. Вы на неё смотрите так, как она смотрит на формулы. Я такое выражение видела один раз в жизни. Не подведите.

Она ушла. Я закрыл дверь и сел, и сидел, и думал о том, что понедельник - это послезавтра, и о том, что два дня можно прожить молча, если молчание выдержанное, и о том, что Рита пришла ко мне за неё, и это значило, что у Алисы есть человек, который ходит за неё в бой, и что это хорошо, и что в понедельник я должен быть готов, и что готов я не был.

Вечером я открыл ежедневник и записал: понедельник, утро, до выезда на защиту - всё. Пирс, флакон, заказ, ноябрь. Своими словами. Без оправданий. Я перечитал запись и не вычеркнул её, и это было правильно, и только одно я тогда не записал, потому что не знал: что у Алисы на столе уже стоит открытый флакон, и что выдержка её правды кончилась раньше моей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.